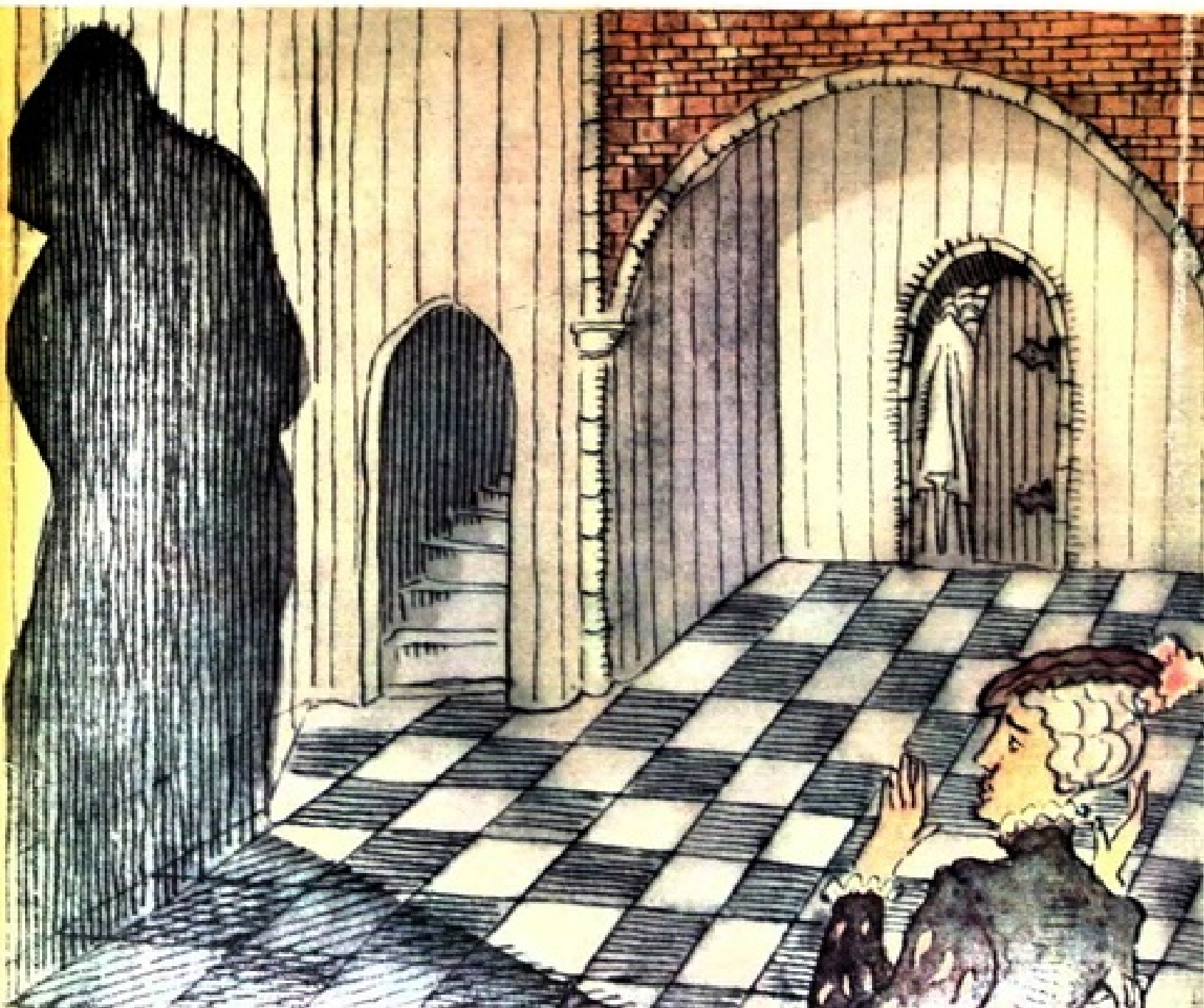


ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ
ДРАМЫ • НОВЕЛЛЫ



Annotation

Сюжет новеллы взят из «старой хроники», из рассказа школьного учителя второй половины XVI века Петера Гафтица, об исторически реальной личности Ганса Кольхазе (Hans Kohlhase). Это был зажиточный купец из Бранденбурга, у которого по приказу саксонского юнкера Гюнтера фон Цашвиц увели двух лошадей. Ганс Кольхазе пытался возместить убыток через суд, но потерпел неудачу. Тогда, собрав вокруг себя других недовольных, он объявил войну своему притеснителю, а заодно и всей Саксонии с ее несправедливой юстицией.

Примечания А. Левинтона.

Иллюстрации Б. Свешникова.

- [ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ](#)

-

- [Примечания](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

МИХАЭЛЬ КОЛЬХААС

Из старой хроники

Перевод с немецкого Н. Ман

На берегах Хавеля жил в середине шестнадцатого столетия^[1] лошадиный барышник по имени Михаэль Кольхаас, сын школьного учителя, один из самых справедливых, но и самых страшных людей того времени. Необыкновенный этот человек до тридцатого года своей жизни по праву слыл образцом достойного гражданина. Близ деревни, и поныне носящей его имя,^[2] у него была мыза, и, живя на ней, он кормился своим промыслом. Детей, которых ему подарила жена, он растил в страхе Божьем для трудолюбивой и честной жизни. Среди соседей не было ни одного, кто бы не испытал на себе его благодетельной справедливости. Короче, люди благословляли бы его память, если б он не перегнул палку в одной из своих добродетелей, ибо чувство справедливости сделало из него разбойника и убийцу.

Однажды с табунком молодых, лоснящихся, отлично выкормленных коней он отправился к границе Саксонского курфюршества^[3]. Прикидывая, сколько барыша они принесут ему на ярмарках, он решил часть его, как то и подобает рачительному хозяину, пустить в оборот, часть же истратить себе на потеху и радость. В таких размышлениях он достиг Саксонской земли и неподалеку от горделивого рыцарского замка наткнулся на шлагбаум, которого прежде на этой дороге не видывал. Он остановил своих коней, как раз когда начался дождь, и кликнул сторожа: тот вскоре показался в окне и бросил на него угрюмый взгляд. Барышник попросил открыть шлагбаум.



— Что это у вас за новость? — спросил он, когда сборщик дорожных пошлин, изрядно помешкав, вышел наконец из дому.

— Привилегия, дарованная курфюрстом нашему господину, юнкеру ^[4] Венцелю фон Тронка, — отвечал он.

— Так, — проговорил Кольхаас, — значит, Венцелем звать этого юнкера? — и посмотрел на замок, чьи дозорные башни, блестевшие от дождя, уставились вдаль. — А разве старого хозяина нет больше в живых?

— Помер от удара, — сказал сторож, подымая шлагбаум.

— Жаль! Жаль! — отозвался Кольхаас. — Почтенный был старик,

радовался проезжему люду и чем мог поощрял торговлю и промыслы; он даже велел вымостить камнем дорогу в деревню, потому что моя кобыла на ней сломала ногу. Ну, ладно, сколько с меня? — спросил он, с трудом доставая из-под развевающегося на ветру плаща монеты, затребованные сборщиком. — Да, старина, — добавил он, когда тот, кляня непогоду, пробормотал еще: «Живей, живей поворачивайся», — кабы дерево, срубленное для шлагбаума, осталось в лесу, нам бы с вами куда лучше было.

С этими словами он протянул ему деньги и тронул своего коня. Не успел Кольхаас проехать под шлагбаумом, как с башни донесся еще чей-то голос.

— Стой, стой, конепас, ни с места!

Захлопнув окно, вниз уже торопливо спускался кастелян^[5].

«А это еще что за новости?» — сам себя спросил Кольхаас и снова остановил табун. На ходу застегивая жилетку на обширном животе, кастелян прибежал и, став боком к ветру, потребовал у Кольхааса пропускное свидетельство.

— Пропускное свидетельство? — переспросил Кольхаас и не без смущения добавил, что, насколько ему известно, у него такового не имеется. Но если ему объяснят, что это за штука, то, может, случайно и окажется, что она у него в кармане. Кастелян, искоса на него поглядывая, отвечал, что без этого свидетельства ни один барышник со своими конями не будет пропущен через границу; на что Кольхаас отвечал, что он семнадцать раз переезжал через границу безо всякого свидетельства и что ему до точности известны все постановления касательно его промысла: здесь, мол, произошла ошибка, и он покорнейше просит не задерживать его из-за такой безделицы, поскольку путь ему еще сегодня предстоит не близкий. Кастелян отвечал, что в восемнадцатый раз у него ничего не получится, что постановление это совсем недавнее и что барышник должен либо представить пропускное свидетельство, либо возвращаться восвояси. Кольхаас, которого начинало сердить это незаконное вымогательство, немного подумал, слез с коня, передал поводья своему конюху и заявил, что сам поговорит с юнкером фон Тронка. Кастелян семенил за ним, бормоча что-то о сквалыжных обиралах-барышниках и о том, как им полезно хорошее кровопускание. Наконец оба, меря друг друга сердитыми взглядами, вошли в зал.

Как на грех, юнкер бражничал там с дружками, и, когда Кольхаас приблизился к столу, чтобы принести свою жалобу, все они покатывались со смеху от какой-то соленой шутки. Юнкер спросил, что ему надобно,

рыцари, завидев чужого, приумолкли, но не успел Кольхаас рассказать о случившемся, как вся честная компания с криком: «Кони? Где они?» — ринулась к окну поглядеть, что за кони стоят на дворе. Увидев прекрасный табун, они, с согласия хозяина дома, стремглав сбежали вниз. Дождь перестал; кастелян, управитель замка и слуги столпились вокруг рыцарей и тоже глазели на лошадей. Один не мог налюбоваться рыже-чалым жеребцом с белой звездочкой на лбу, другому приглянулась караковая кобылка, третий все гладил и гладил пегого жеребца в черно-рыжих подпалинах. Все в один голос твердили, что лучших коней еще не видывали на немецкой земле, кони-де что твои олени! Кольхаас бойко отвечал, что кони не лучше рыцарей, которым предстоит скакать на них, и предложил купить у него этих коней. Юнкер, которому уж очень пришелся по душе могучий чалый жеребец, спросил о цене. Управитель посоветовал ему лучше купить парочку вороных — в хозяйстве, мол, пригодятся. Но когда конноторговец назвал цену, рыцари сочли ее слишком высокой, а юнкер так даже посоветовал ему скакать к Круглому Столу и предложить коней королю Артуру^[6], ежели он за них столько ломит. Смутное предчувствие овладело Кольхаасом, когда он заметил, что кастелян и управитель перешептываются, бросая красноречивые взгляды на вороных, и ему захотелось во что бы то ни стало сбыть им коней. Он оборотился к юнкеру:

— Сударь, полгода назад я купил этих вороных за двадцать пять золотых гульденов; заплатите мне тридцать, и они ваши.

Двое рыцарей, стоявших подле хозяина замка, недвусмысленно дали ему понять, что кони стоят этих денег. Но тот, видно, решил — если уж тратиться, то на чалого жеребца, а не на вороных, и собрался воротиться в замок. Кольхаас сказал: ну, что ж, может, им удастся столкнуться в следующий раз, когда он будет проезжать со своими конями, поклонился юнкеру и уже взялся за поводья. Но тут из толпы выступил кастелян и напомнил Кольхаасу, что без пропускного свидетельства ему ехать нельзя. Кольхаас обернулся и спросил хозяина, неужто же и вправду существует установление, которое ставит под угрозу его промысел? Юнкер со смущенным видом отвечал:

— Да, Кольхаас, без свидетельства не обойдешься. Поговори с кастеляном и ступай своей дорогой.

Кольхаас его заверил, что не собирается пренебрегать установлениями, касающимися вывоза лошадей, пообещал проездом через Дрезден^[7] выправить себе свидетельство в канцелярии и попросил лишь на этот раз,

поскольку такой порядок был ему неизвестен, пропустить его.

— Ладно, не задерживайте беднягу, — сказал юнкер, а так как непогода пуще разгулялась и ветер до костей пронизывал его тщедушное тело, то он добавил, обращаясь к рыцарям: — Пошли! — и направился было в замок. Кастелян приблизился к нему и сказал, что надо, по крайней мере, взять с барышника залог, а то он не станет выправлять себе свидетельство. Юнкер снова остановился, уже у самых ворот. Кольхаас спросил, во сколько, деньгами или вещами, он оценивает залог за вороных. Управитель пробурчал себе в бороду, что лучше будет, если в залог он оставит самих вороных.

— И уж конечно, всего разумнее, — поддержал его кастелян, — а как выправит свидетельство, может их забирать в любое время.

Кольхаас, пораженный столь бесстыдным требованием, сказал продрогшему юнкеру, который силился плотнее запахнуть свой камзол, что ему ведь надо этих коней продать. Но юнкер, тем паче что порыв ветра вдруг закрутил в подворотне вихрь дождя и града, желая положить конец препирательствам, крикнул:

— Не хочет оставлять коней, так гоните его за шлагбаум!

Барышник, смекнув, что тут ничего не поделаешь, счел за благо уступить этому требованию и отвел вороных в конюшню, указанную кастеляном. Он оставил при них конюха, дал ему денег, велел получше ходить за конями до его возвращения и с остатками табуна отправился на ярмарку в Лейпциг, теряясь в догадках, неужто и в самом деле такой приказ издан в Саксонском курфюршестве для поощрения собственного коневодства.

Прибыв в Дрезден, где у него в предместье имелся дом с конюшнями, ибо отсюда ему было удобно вести торговлю на мелких ярмарках, он тотчас же отправился в канцелярию и от знакомых советников получил подтверждение того, о чем ему сразу же сказало сердце: вся история с пропускным свидетельством не более как злостное измышление. Кольхаас, которому рассерженные советники по его ходатайству все-таки выдали письменное удостоверение касательно бессмысленности упомянутого требования, усмехнулся шутке худосочного юнкера, хотя и не понимал, к чему она клонится. Несколько недель спустя, к вящему своему удовольствию выгодно распродав весь табун, Кольхаас вернулся в Тронкенбург, огорчаясь случившимся лишь в той мере, в какой каждого огорчает людская кривда. Кастелян, которому он показал удостоверение, не стал более на эту тему распространяться и на вопрос конноторговца, можно ли ему наконец получить своих коней, велел ему идти в конюшню и

забрать их. Но Кольхаас, еще идя туда, услышал пренеприятную весть, а именно, что конюха, которого он оставил в Тронкенбурге, через несколько дней после его отъезда, так ему было сказано, избиили за непристойное поведение и согноли со двора. Он спросил паренька, сообщившего ему об этом, что натворил его конюх и кто же вместо него ходил за лошадьми. Тот отвечал, что ничего не знает, и с этими словами открыл перед Кольхаасом, у которого уже тревожно билось сердце, ворота конюшни. И как же он был потрясен, увидев вместо своих гладких, лоснящихся коней тощих, изможденных одров: торчащие кости, на которые хоть вещи вешай, свалывшиеся, нерасчесанные гривы, — картина истинного бедствия в мире животных! Кольхаас, которого злополучные кони приветствовали чуть слышным ржанием, вне себя от негодования спросил паренька, что же это такое с его воронами. Никакой беды с ними не стряслось, отвечал тот, и корму им задавали вдоволь, но во время жатвы не хватило тяглогового скота, и коням пришлось немного поработать в поле. Кольхаас, кляня на чем свет стоит постыдный произвол, но понимая свою беспомощность, подавил в себе ярость и уж совсем было собрался увести коней из этого разбойничьего гнезда, когда подошел кастелян, привлеченный громкими голосами, и поинтересовался, что здесь происходит.

— Что происходит? — переспросил Кольхаас. — Кто дал право юнкеру Тронка и его людям использовать оставленных мною коней на полевых работах? — И присовокупил: — Да разве это по-людски?

Засим он попытался взбодрить измученных коней ударом хлыста, но они по-прежнему стояли без движения, на что он и обратил внимание кастеляна. Кастелян пристально на него посмотрел и сказал:

— Вот нахал так нахал! Этому мужлану надо бы Бога благодарить за то, что его кони еще не околели. — И спросил Кольхааса, как он полагает, кто должен был ходить за конями, если его конюх сбежал? И разве не справедливо, что лошади отработывали корм, который получали? — А вообще, — заключил кастелян, — ври, да не завирайся, а не то свистну собак, они уж наведут здесь порядок.

У барышника сердце готово было выпрыгнуть из груди. Руки чесались швырнуть в грязь разжиревшего холопа и ногою придавить его медную рожу. Но чувство справедливости, ему присущее и точное, как аптекарские весы, все еще колебалось. Перед судом своего сердца не мог он утвердительно сказать, что вся вина ложится на его противника. Не дав поносным речам сорваться со своих уст, он подошел к лошадям, про себя взвешивая все обстоятельства, стал приводить в порядок их гривы и, наконец, вполголоса спросил, за какую провинность был его конюх удален

из замка.

— За то, что этот негодяй свой характер выказывал! За то, что не хотел ставить лошадей в другую конюшню и требовал, чтобы кони двух молодых рыцарей, приехавших в Тронкенбург, — из-за его-то одров — ночевали под открытым небом.

Кольхаас с радостью отдал бы деньги, которые мог выручить за вороных, лишь бы здесь на месте оказался его конюх и он мог бы сравнить его показания с показаниями толстомордого кастеляна. Он продолжал гладить коней, раздумывая, что можно предпринять в его положении, когда декорация внезапно переменилась: двор заполнила толпа рыцарей, слуг и псарей с собаками — это воротился с охоты на зайцев юнкер Венцель фон Тронка. Юнкер спросил кастеляна, что здесь происходит, и тот, под неистовый лай собак, почуявших чужого, под окрики рыцарей, пытавшихся их успокоить, преднамеренно искажая истину, стал говорить хозяину, что-де этот барышник поднял настоящий бунт, узнав, что его кони малость поработали в поле. Он даже отказывается признать коней своими, добавил кастелян с язвительным хохотом.

— Это не мои кони, сударь! — вскричал Кольхаас. — Не те, что стоили тридцать золотых гульденов! Мне нужны мои упитанные, здоровые лошади, вот и все!

Внезапно побледневший юнкер спешился и крикнул:

— Если эта сволочь не желает брать своих лошадей, так пусть они остаются. Идем, Гюнтер, Ганс, идем! — крикнул он, отряхая пыль со своих штанов. — Вина, да поживее! — обернулся юнкер уже в дверях и вошел в дом, сопровождаемый рыцарями.

Кольхаас твердым голосом заявил, что скорее сведет коней на живодерню, чем в таком виде поставит их в свою конюшню в Кольхаасенбрюкке. Он оставил их на замковом дворе, вскочил на каракового жеребца, крикнул, что сумеет постоять за свои права, и был таков.

Во весь опор скача к Дрездену, он вдруг вспомнил о своем конюхе и о взведенном на него обвинении, затрусил мелкой рысцой и, не проехав и тысячи шагов, свернул в Кольхаасенбрюкке, дабы учинить предварительный допрос конюху, что представлялось ему разумным и справедливым. Ибо правдолюбивое его сердце, изведавшее все несовершенство миропорядка, несмотря на обиды, которые ему пришлось претерпеть, склонялось к тому, чтобы утрату коней принять как справедливое воздаяние, если его конюх и вправду в чем-нибудь провинился, как то утверждал кастелян. В то же время другое, но столь же

верное чувство, все прочнее в нем укоренявшееся по мере того, как он продвигался вперед, и всюду, куда бы ни заезжал, слышал разговоры о несправедливостях, что ни день чинимых проезжим людям в Тронкенбурге, говорило ему, что если все происшедшее — а на то было похоже — нарочно подстроено, то он, человек недюжинной силы, обязан добиться удовлетворения за обиду, ему нанесенную, и впредь оградить своих сограждан от подобной участи.

По прибытии в Кольхаасенбрюкке, едва обняв преданную свою жену Лисбет и расцеловав детей, радостно кинувшихся к нему, он тотчас же спросил, что слышно о Херзе, старшем конюхе.

— Ах, милый Михаэль, — отвечала Лисбет, — если бы ты знал, сколько хлопот нам наделал этот Херзе! Представь себе, что недели две назад он явился домой весь избитый, избитый до того, что едва дышал. Мы уложили его в постель, и он вдруг начал харкать кровью, а когда ему чуть-чуть полегчало и мы принялись его расспрашивать, рассказал нам историю, в которой и понять-то толком ничего нельзя было: как ты оставил его при лошадях, которых задержали в Тронкенбурге, как его разными издевательствами принудили уйти из замка и как ему не удалось увести с собой коней.

— Вот оно что, — проговорил Кольхаас, снимая плащ, — а он уже поправился или нет?

— Да, только все еще харкает кровью, — отвечала она. — Я хотела немедленно послать в Тронкенбург другого конюха, чтобы он ходил за лошадьми до твоего приезда. Но ведь Херзе никогда не лгал и предан нам больше, чем другие; потому мне и в голову не пришло сомневаться в его рассказе, подтвержденном столькими живыми подробностями; ни минуты я не думала, что у него украли лошадей или что с ними еще что-то стряслось. Он молил меня никого не посылать в это разбойничье гнездо и пожертвовать лошадьми, если я не хочу загубить из-за них человека.

— Он еще лежит в постели или уже встал? — спросил Кольхаас, разматывая шейный платок.

— Вот уже несколько дней, как он на ногах. Словом, ты сам убедишься, что он сказал правду и вся эта история только одно из позорных бесчинств, которые с недавних пор творят в Тронкенбурге над проезжими.

— Ну, в этом я еще сам должен разобраться, — отвечал Кольхаас, — поди, Лисбет, позови его ко мне, если он не в постели.

С этими словами он уселся в кресло, а хозяйка дома, обрадованная его спокойствием, поспешила за конюхом.

— Что ты там набедокурил в Тронкенбурге? — спросил Кольхаас,

когда Лисбет вместе с Херзе вошла в комнату. — Я не очень-то доволен тобой.

Конюх, чье бледное лицо при этих словах пошло красными пятнами, немного помолчал и ответил:

— Ваша правда, хозяин, серный шнур, который я Божьим соизволением держал при себе, чтобы поджечь разбойничье гнездо, я бросил в Эльбу, когда услышал, что в замке плачет ребенок; пусть испепелит эти стены Господень огонь, а я этого делать не стану, подумалось мне.

Кольхаас, немного смешавшись, продолжал:

— А чем ты, спрашивается, заработал изгнание из Тронкенбурга?

Херзе на это:

— Дурным поступком, хозяин, — и вытер пот со лба. — Но что было, то было, сделанного не воротишь. Я не хотел, чтобы они заморили вороных на полевых работах, и сказал, что кони еще молоды и никогда в упряжи не ходили.

Силясь подавить свое замешательство, Кольхаас сказал конюху, что тот, выходит, немного прилгал: ведь лошадей изредка запрягали еще прошлой весной.

— Тебе бы следовало, — добавил он, — поскольку ты оказался вроде как гостем в замке, быть немного неуслужливее и разок-другой помочь им, раз уж надо было спешить с уборкой урожая.

— Я так и сделал, — отозвался Херзе. — Вижу, они на меня волками смотрят, я и подумал, что коням ничего не сделается, запряг их на третий день и привез три воза зерна.

Кольхаас, у которого сердце обливалось кровью, опустил глаза долу и пробормотал:

— Об этом мне ничего не сказали, Херзе! Херзе заверил его, что все так и было:

— Моя строптивость только в том и заключалась, что в полдень, не успели лошади поесть и передохнуть, я отказался снова запрягать их, да еще в том, что, когда кастелян и управитель предложили мне бесплатно брать корм в ихней конюшне, а деньги, что вы мне оставили на овес, положить себе в карман, я отвечал: «Еще что выдумали», повернулся и ушел.

— Но ведь не за это же тебя выгнали из Тронкенбурга?

— Упаси бог! — воскликнул конюх. — За другое ужасное преступление. Дело в том, что вечером коней двух рыцарей, приехавших в Тронкенбург, завели в конюшню, а моих стали привязывать снаружи. Я

взял поводья из рук кастеляна и спросил, куда же им теперь деваться, а он указал мне на дощатый свиной хлев, притулившийся у стены.

— Ты хочешь сказать, — перебил его Кольхаас, — что это было настолько плохое помещение, что походило скорее на свиной хлев, чем на конюшню?

— Это и был взаправдашний свиной хлев, хозяин, — отвечал Херзе, — свиньи сновали там взад и вперед, а я так даже распрямиться в нем не мог.

— Может быть, больше негде было поставить лошадей и рыцарским коням, само собой, было отдано предпочтение?

— Конюшня там была малопоместительная, — тихим голосом отвечал Херзе, — а в замке гостевало уже семеро рыцарей. Будь вы на их месте, вы бы приказали поставить лошадей немного потеснее. Я сказал, что поищу в деревне, не сдаст ли мне кто-нибудь конюшню; но кастелян заявил, что лошади должны оставаться под его присмотром и чтоб я и думать не смел уводить их со двора.

— Гм, — произнес Кольхаас, — и что же ты ему на это ответил?

— Управитель сказал, что оба гостя только переночуют в замке, потому я и отвел лошадей в свиной хлев. Но прошел день, другой, а гости и не собирались уезжать; на третий же день выяснилось, что они чуть ли не месяц проживут в замке.

— Выходит, Херзе, что свиной хлев был уж не так плох, как тебе показалось, когда ты первый раз туда сунулся, — заметил Кольхаас.

— Ваша правда, — отвечал тот. — Я там немножко подмел и дал денег скотнице, чтобы она еще где-нибудь пристроила свиней. А назавтра, едва забрезжило утро, я снял доски со стропил, чтобы лошади могли стоять во весь рост, вечером же опять положил их на место. Кони наши, словно гуси, вытягивали шеи поверх крыши да поглядывали в сторону Кольхаасенбрюкке или еще куда, где бы им было получше.

— Ну ладно, — перебил его Кольхаас, — но скажи на милость, почему тебя все-таки выгнали оттуда?

— Потому, хозяин, что хотели от меня отделаться. При мне-то лошадей уморить они бы не сумели. Во дворе, в людской, как увидят меня — рожи корчат, а я и говорю себе: гримасничайте на здоровье, покуда челюсти не свихнули; вот они и удумали придрататься к какой-то ерунде да и выгнать меня.

— Ну а повод? — воскликнул Кольхаас. — Был же у них какой-нибудь повод?

— Разумеется, — отвечал Херзе, — и притом самый что ни на есть правильный. Вечером, после двух дней в свином хлеве, лошади мучились

почесухой, и я решил искупать их в реке. Не успел я подъехать к замковым воротам, как вижу — из людской выскакивает кастелян, за ним управитель со слугами, собаками и батогами, все гонятся за мной, крича: «Держи вора! Хватай висельника!» Привратник преграждает мне дорогу. Я спрашиваю его и всю шайку, что на меня насккивает, в чем дело. «В чем дело?» — повторяет кастелян и берет моих вороных под уздцы, потом хватает меня за шиворот и кричит: «Куда это ты собрался с конями?» — «Куда собрался? — говорю я. — На речку, черт вас подери, коней купать. Вам, может, примерещилось, что я?..» — «На речку? — заорал кастелян. — Я тебе покажу, мошенник, как плавают в Кольхаасенбрюкке по пыльной дороге!» — и заодно с управителем, который что есть силы дернул меня за ногу, они сбрасывают меня с лошади так, что я во всю длину растянулся в грязи. «Караул, убивают! — кричу я. — В конюшне у меня осталась сбруя, попоны и узелок с бельем!» Управитель уводит коней, а кастелян со слугами бьют меня чем ни попадя, пинают ногами и выбрасывают за ворота. Я упал, полумертвый, но все-таки поднялся и крикнул: «Разбойники! Негодяи! Куда вы ведете моих коней?» — «Вон отсюда, — орет мне в ответ кастелян. — Агу его, Кайзер, агу его, Егерь, агу, Шпиц!» И на меня набрасывается добрая дюжина псов. Я вырвал из забора то ли доску, то ли планку и как размахнусь! У троих псов сразу дух вон. Но раны не позволяют мне сражаться дальше. Вдруг свисток — собаки мигом вбегают во двор, ворота закрываются, а я без памяти валяюсь на дороге.

Кольхаас, сильно побледнев, с наигранным лукавством спросил:

— А не хотел ли ты и впрямь удрать, Херзе? Тот густо покраснел и потупился.

— Признайся, — продолжал Кольхаас, — тебе не по душе пришелся свиной хлев: ты решил, что конюшня и Кольхаасенбрюкке получше будет?

— Разрази меня гром! — вскричал Херзе. — Я в этом хлеву оставил сбрую и попоны. И узелок с бельем. Неужто я бы не взял с собой трех гульденов, завернутых в красный шелковый платок, который я припрятал за яслями? Гром, молния и все адские силы! Когда я слушаю ваши речи, я жалею, что выбросил серный шнур, мне впору сейчас разыскать его и поджечь!

— Полно, полно, — произнес барышник, — я ничего худого не думал и верю каждому твоему слову; так бы я и на исповеди сказал. Жаль мне, что тебе так круто пришлось у меня на службе! Поди, Херзе, ляг в постель, вели принести себе бутылку вина и утешься: справедливость восторжествует.

Сказав это, он отвернулся и стал составлять список вещей,

оставленных старшим конюхом в свином хлеву, обозначил их стоимость, потом спросил Херзе, в какую сумму тот оценивает расходы на лечение, наконец, пожал ему руку и отпустил его.

Засим он пересказал жене своей Лисбет весь ход событий, разъяснил их внутреннюю связь, добавил, что твердо решил добиться справедливости по суду, и порадовался, что она всей душой одобрила его замысел. Ведь и многим другим проезжим, сказала Лисбет, возможно, менее терпеливым, чем он, ее муж, не миновать замка Тронкенбург и потому покончить с безобразиями, которые там творятся, — поистине богоугодное дело, средства же, необходимые на ведение процесса, она уж поможет ему изыскать. Кольхаас назвал ее своей славной женушкой, провел счастливый день в кругу семьи и, как только ему позволили дела, снова выехал в Дрезден — подать в суд свою жалобу.

В Дрездене с помощью ученого юриста, давно ему знакомого, он составил исковое заявление, в котором, подробно изложив бесчинства юнкера фон Тронка как по отношению к нему, Кольхаасу, так и к его конюху Херзе, просил, во-первых, законного наказания владельца замка, во-вторых — усиленного откорма коней для восстановления их в прежнем виде и, наконец, возмещения убытков, понесенных им и его конюхом. Правда его в этом деле была самоочевидна. Незаконное задержание лошадей пролиvalo свет на все остальное, но даже если предположить, что лошади хирели по чистой случайности, требование барышника вернуть ему их здоровыми и тогда оставалось справедливым. Вдобавок у Кольхааса нашлось немало друзей в резиденции, пообещавших ему поддержку. Его широко разветвленная торговля лошадьми и честность, с какою он вел ее, снискали ему благоволение самых именитых людей страны. Он частенько и превесело обедал у своего адвоката, тоже человека весьма влиятельного. В скором времени Кольхаас вручил ему солидную сумму денег на процессуальные расходы. По истечении двух или трех недель, успокоенный уверенностью последнего в исходе процесса, он вернулся в Кольхаасенбрюкке, к жене своей Лисбет. Однако прошли долгие месяцы, едва ли не целый год, а он все еще не получил из Саксонии извещения касательно вчиненного им иска, не говоря уже о резолюции.

Кольхаас неоднократно запрашивал трибунал, в чем причина столь невероятной задержки, и наконец обратился с доверительным письмом к своему советчику адвокату, от коего и узнал, что по указанию свыше его иск прекращен дрезденским судом. В ответ на удивленное письмо барышника, в котором он интересовался, что побудило суд вынести столь странное решение, адвокат сообщил, что юнкер Венцель фон Тронка

состоит в родстве с двумя придворными, Хинцем и Кунцем фон Тронка, из них первый является кравчим курфюрста Саксонского, а второй — так даже его камергером^[8]. Далее он советовал Кольхаасу без дальнейшей беготни по судебным инстанциям забрать коней, оставленных в Тронкенбурге, давая понять, что юнкер, ныне пребывающий в столице Саксонии, приказал своим людям беспрекословно отдать их ему; письмо заключалось просьбою: буде Кольхаас на этом не успокоится, не обременять его, адвоката, дальнейшими поручениями по данному делу.

О ту пору Кольхаас находился в Бранденбурге^[9], где градоправитель Генрих фон Гейзау, в чей округ входил и Кольхаасенбрюкке, стремясь использовать капитал, случайно доставшийся городу, занят был устройством благотворительных заведений для больных и бедных; больше всего хлопот ему доставлял минеральный источник, забивший в одной из деревень; предполагалось, что этот источник будет способствовать излечению недужных, однако будущее показало, что его целебные свойства были сильно преувеличены. Поскольку Генрих фон Гейзау имел дело с Кольхаасом еще в бытность свою при дворе и хорошо его знал, то и разрешил Херзе, старшему конюху, после горьких дней в Тронкенбурге все еще ощущавшему стеснение и груди, испытать на себе целебное действие маленького источника, уже подведенного под крышу и обложенного камнем.

Случилось так, что градоправитель, отдавая какие-то распоряжения, стоял возле бассейна, в который Кольхаас уложил Херзе, и видел, как человек, посланный Лисбет к мужу, подал ему роковое письмо от дрезденского адвоката. Градоправитель, беседовавший с врачом, заметил, что при чтении этого листка слезы выступили на глазах Кольхааса; он приблизился и дружелюбно и сочувственно спросил, что за несчастье его постигло. Вместо ответа барышник протянул ему письмо; тогда сей достойный человек, уже наслышанный о позорной несправедливости тронкенбургского юнкера, вследствие которой Херзе был болен, возможно, на всю жизнь, похлопал Кольхааса по плечу и сказал, пусть-де не падает духом, он же со своей стороны поможет ему в его правом деле. Когда барышник согласно его приказанию вечером явился к нему во дворец, градоправитель посоветовал ему написать прошение курфюрсту Бранденбургскому^[10], приложить к таковому письмо адвоката и, ввиду грубого насилия, жертвой коего он стал на Саксонской земле, просить об его августейшем заступничестве. Далее он пообещал передать это прошение вместе с другим уже заготовленным пакетом в руки курфюрста,

который, если позволят обстоятельства, вскоре должен свидеться с курфюрстом Саксонским, а большего и не потребуется для дрезденского трибунала, чтобы положить конец проискам юнкера и его приспешников. Обрадованный Кольхаас не знал, как и благодарить градоправителя за это новое доказательство его благосклонности, и тут же высказал сожаление, что сразу не подал свою жалобу в Берлин, минуя Дрезден. Кольхаас направился в канцелярию городского суда и там по всем правилам написал прошение и, вручив его градоправителю, вернулся в Кольхаасенбрюкке, более чем когда-либо уверенный в благоприятном исходе своего дела.

Однако не прошло и нескольких недель, как некий судейский чиновник, ехавший в Потсдам по делам градоправителя, сообщил ему горестную весть: что-де курфюрст Бранденбургский передал его прошение своему эрцканцлеру графу Кальхейму, а тот не стал ходатайствовать перед дрезденским двором о доследовании дела и наказании виновного, что было бы естественно и разумно, но обратился за более подробными сведениями к юнкеру фон Тронка. Судейскому, оставшемуся сидеть в карете перед домом Кольхааса, видимо, было поручено передать сие сообщение, но на удивленный вопрос конноторговца, зачем же было заводить эту канитель, он не дал сколько-нибудь вразумительного ответа и, спеша продолжить путь, сказал только, что градоправитель велит Кольхаасу набраться терпения. Лишь в конце этой краткой беседы, по нескольким словам, оброненным чиновником, Кольхаас понял, что граф Кальхейм в свойстве с домом Тронка. Не видя более радости ни в своем конном заводе, ни в мызе, охладев даже к жене и детям, Кольхаас весь месяц томился недобрыми предчувствиями — и как в воду глядел. По истечении этого срока из Бранденбурга вернулся Херзе, которому целебный источник и вправду принес некоторое облегчение, с рескриптом и приложенным к нему письмом градоправителя следующего содержания: ему-де очень жаль, что он ничем не может быть полезен Кольхаасу; при сем он препровождает полученную им резолюцию государственной канцелярии и советует забрать лошадей, оставленных в Тронкенбурге, и все дело предать забвению.

Резолюция гласила: трибунал города Дрездена решил, что податель сего прошения занимается сутяжничеством; юнкер, во владениях коего он оставил своих лошадей, отнюдь не намеревается их задерживать; жалобщик может немедленно послать за ними или, по крайней мере, сообщить юнкеру, куда их следует доставить; ему же, Кольхаасу, предлагается впредь не обременять государственную канцелярию подобными дрязгами и кляузами. Но Кольхаасу не лошади были важны, он

испытал бы не меньшую боль, будь то даже собаки, и теперь, прочитав письмо, задыхался от ярости. Всякий раз, когда со двора доносился шум, его грудь теснило зловещее предчувствие, ранее ему неведомое, и он не спускал глаз с ворот, ожидая, что вот-вот появятся люди юнкера фон Тронка и передадут ему, еще, того и гляди, с извинениями, изголодавшихся, изможденных коней. И это было единственное, с чем не могло смириться его закаленное жизнью сердце. Вскоре, однако, он услышал от одного знакомого, проехавшего по тому же пути, что его лошади сейчас, как и раньше, используются на полевых работах вместе с хозяйскими. И тут сквозь боль за чудовищные неполадки мира пробилась внутренняя удовлетворенность тем, что собственное его сердце отныне в полном ладу с его совестью. Он позвал к себе соседа, некоего амтмана^[11], давно уже лелеявшего мечту расширить свои владения путем покупки граничивших с ними земельных участков, и, усадив гостя, спросил, сколько на круг он даст за его дома и земли в Бранденбургском и Саксонском курфюршествах, словом, за всю его недвижимость. Лисбет побледнела, это услышав. Она взяла на руки своего младшенького, возившегося подле нее на полу, и, не глядя на румяные щечки малютки, игравшего ее ожерельем, устремила взор, в котором, казалось, застыла смерть, на мужа и на бумагу в его руках. Амтман, удивленно взглянув на Кольхааса, спросил, с чего это вдруг осенила его столь странная мысль. Барышник со всей бодростью, на какую был способен, отвечал: мысль продать мызы на берегу Хавеля не так уж нова, они с женой частенько об этом подумывали, дом же в предместье Дрездена идет уж, так сказать, заодно, об нем и говорить не стоит, — словом, если амтману угодно будет приобрести оба землевладения, то можно приступать к составлению купчей крепости. И присовокупил вымученную шутку: свет-де клином не сошелся на Кольхаасенбрюкке и человек может задаться целями, в сравнении с которыми обязанности отца семейства не так важны, даже попросту ничтожны; короче говоря, его душа готова к великим свершениям, и возможно, амтман вскоре о них услышит.

Успокоенный его словами, амтман весело сказал Лисбет, осыпавшей поцелуями своего малютку, что деньги-то он ведь еще не выкладывает, затем положил на стол шляпу и трость, которую держал зажатой между коленями, и взял из рук хозяина бумагу, чтобы прочитать ее. Кольхаас, придвинувшись к нему, пояснил, что эта купчая крепость составлена впрок и вступит в силу лишь через четыре недели, в ней все написано, отсутствуют только подписи обеих сторон и не проставлены суммы: продажной цены, а также отступных, которые он, Кольхаас, обязан уплатить амтману в случае, если в течение этих четырех недель откажется

от сделки; затем предложил ему назвать свою цену, при этом деловито заверив, что он человек сговорчивый и долго торговаться не будет. Жена Кольхааса ходила взад и вперед по комнате; грудь ее вздымалась так, что косынка, которую к тому же теребил ребенок, казалось, вот-вот упадет с плеч. Когда амтман заметил, что, конечно, не может судить о стоимости дрезденского владения, то Кольхаас, ни слова не говоря, пододвинул ему письма, которыми обменивался при покупке такового, и сказал, что ценит его в сто золотых гульденов, хотя из писем явствовало, что ему оно обошлось едва ли не вдвое дороже. Амтман еще раз перечитал купчую и, обнаружив пункт, позволявший и ему, в свою очередь, отступить, сказал уже довольно решительно, что племенные лошади Кольхаасова конского завода ему, собственно говоря, ни к чему. Но когда Кольхаас отвечал, что вовсе не хочет сбывать своих лошадей и намеревается также оставить за собой кое-что из оружия, хранящегося у него в оружейной палате, тот заколебался, долго молчал и наконец назвал цену, которую уже давал ему однажды во время прогулки, наполовину в шутку, наполовину всерьез, цену ничтожную в сравнении с подлинной стоимостью имущества. Кольхаас пододвинул ему перо и чернила для подписания купчей, но так как амтман сам себе не верил, то еще раз спросил Кольхааса, уж не смеется ли тот над ним. На что барышник, несколько задетый, отвечал: неужто же он полагает, что с ним здесь шутки шутят? Тогда амтман, правда, с несколько недоверчивым выражением на лице, взял перо и стал писать, но первым делом зачеркнул пункт о выплате ему отступных в случае отказа от сделки; далее он взял на себя обязательство внести сто золотых гульденов в задаток за дрезденскую недвижимость, ибо ни в коем случае не желал покупать ее за половинную цену, и, наконец, предоставлял Кольхаасу право в течение двух месяцев безвозмездно отступить от продажи своего имущества. Барышник, растроганный таким поступком, от всей души пожал ему руку. И после того, как они пришли к согласию касательно последнего и главнейшего условия, а именно, что четвертая часть продажной цены будет выплачена наличными, остальная же сумма через три месяца перечислена на гамбургский банк, Кольхаас приказал принести вина, чтобы отпраздновать заключенную сделку. Когда служанка внесла бутылки, он велел ей сказать Штернбальду, конюху, чтобы тот седлал рыжего жеребца, — дела, мол, срочно призывают его в столицу. И еще он дал понять, что вскоре, то есть по возвращении, чистосердечно расскажет о том, что сейчас еще вынужден держать про себя. Затем, разливая вино, спросил амтмана, что слышно о поляках и турках, в ту пору воевавших между собой, и вовлек его в политический спор; наконец, он поднял кубок

за успех их общего дела и отпустил гостя.

Едва амтман закрыл за собою дверь, Лисбет пала на колени перед мужем.

— Если ты еще не изгнал из своего сердца меня и детей, которых я родила тебе, — вскричала она, — если мы еще не навек отторгнуты от него, не знаю уж, за какие грехи, то объясни мне, что означают эти страшные приготовления?

— Любимая моя жена, — отвечал Кольхаас, — пусть ничто тебя сейчас не тревожит. Мне прислали судебное решение, и оно гласит, что моя жалоба на юнкера Венцеля фон Тронка не более как грязная кляуза. Конечно же, это плод недоразумения, и я решил сызнова подать жалобу прямо в руки государя.

— Зачем ты продаешь свой дом? — крикнула она, поднимаясь и ломая руки.

Барышник, любовно прижав ее к своей груди, отвечал:

— Затем, милая моя Лисбет, что я не могу жить в стране, которая не защищает моих прав. Если топчут тебя ногами, лучше быть псом, нежели человеком! И я уверен, что моя жена думает так же.

— Почему ты знаешь, — в отчаянии спросила она, — что твои права не будут ограждены? Почему ты знаешь, что твое прошение отшвырнут в сторону, если ты скромно, как тебе подобает, приблизишься с ним к государю, почему ты знаешь, что тебя откажут выслушать?

— Что ж, — отвечал Кольхаас, — если мои опасения безосновательны, так ведь и дом мой еще не продан. Государь справедлив, это я знаю; если я сумею пробиться к нему через тех, кто его окружает, я, без сомнения, обрету свои права и еще до конца недели радостно возвращусь домой — к тебе, к старым своим занятиям. И уж тогда, — добавил он, целуя Лисбет, — до конца жизни буду с тобой! Но я должен быть готов ко всему и считаю желательным, чтобы ты, если это возможно, на некоторое время удалилась; возьми детей и поезжай к тетке в Шверин^[12] — ты ведь давно собиралась ее навестить.

— Как? — вскричала Лисбет. — Мне ехать в Шверин? С детьми ехать через границу в Шверин? — Ужас перехватил ей горло.

— Вот именно, — сказал Кольхаас, — и притом немедленно, чтобы я мог без помехи предпринять шаги, необходимые для моего дела.

— О, я понимаю тебя! Тебе сейчас не нужно ничего, кроме коней и оружия; все остальное пусть забирает кто хочет! — Она зарыдала и бросилась в кресло.

— Что с тобой, моя дорогая Лисбет? Господь благословил меня женой,

детьми и богатством; неуж-то же сегодня я вдруг пожелал, чтобы ничего этого у меня не было?

Он подсел к ней, а она, покраснев от слов мужа, упала в его объятия.

— Скажи, — говорил Кольхаас, откидывая кудри с ее чела, — что же мне делать? На всем поставить крест? Явиться в Тронкенбург, попросить, чтобы рыцарь вернул мне коней, вскочить на одного из них и мчаться домой, к тебе?

Лисбет не отваживалась сказать: да! да! да! — она, рыдая, качала головой, прижимала его к себе, страстными поцелуями осыпала его грудь.

— Ну вот, Лисбет, — воскликнул Кольхаас, — ты поняла, что если я хочу продолжать свой промысел, то мои права должны быть ограждены; так предоставь же мне свободу, необходимую, чтобы постоять за них. — С этими словами он поднялся и сказал конюху, пришедшему доложить, что рыжий жеребец оседлан: — Завтра надо будет запрячь караковых — отвезти хозяйку в Шверин.

Вдруг Лисбет объявила, что ей в голову пришла отличная мысль. Она встала, вытерла слезы и спросила мужа, усевшегося было за конторку, не позволит ли он ей поехать вместо него в Берлин, дабы вручить прошение государю.

Кольхаас, по многим причинам растроганный предложением Лисбет, усадил ее к себе на колени и стал говорить:

— Дорогая моя жена, увы, это невозможно. Государя окружает плотная стена придворных, и немало трудностей придется преодолеть тому, кто вздумает к нему приблизиться.

Лисбет возразила, что женщине дойти до государя проще, чем мужчине.

— Дай мне прошение, — повторила она, — и если тебе одно только нужно — знать, что бумага у него в руках, клянусь, он ее получит!

Кольхаас, не раз имевший случай убедиться в ее отваге и уме, спросил, как же она думает это устроить. Лисбет, стыдливо потупившись, отвечала, что кастелян курфюрстова двора, в свое время служивший в Шверине, сватался к ней, и хотя он теперь человек женатый и отец многочисленного семейства, но ее еще не вовсе позабыл, одним словом, она уж сумеет извлечь пользу из этого обстоятельства и ряда других, о которых сейчас, право, нет времени распространяться. Кольхаас с большой радостью поцеловал жену и согласился на ее предложение, объявив, что ей достаточно будет остановиться у жены кастеляна, чтобы обеспечить себе доступ во дворец, отдал прошение, велел закладывать караковых, поудобнее усадил ее в карете и приказал Штернбальду, верному своему

конюху, сопровождать хозяйку.

Много безуспешных шагов предпринял Кольхаас в своем злополучном деле, но несчастнейшим из них оказалась эта поездка. Ибо уже через несколько дней Штернбальд вернулся домой, медленно ведя под уздцы лошадей, тянувших экипаж, в котором с проломленной грудью лежала его хозяйка. Кольхаас, бледный как полотно, ринулся к ней, но толком так и не узнал, из-за чего произошло несчастье. Кастеляна не оказалось дома, рассказывал конюх; они были вынуждены остановиться на постоялом дворе, неподалеку от дворца. На следующее утро Лисбет ушла, приказав Штернбальду оставаться при лошадях, и вернулась лишь к вечеру уже в этом плачевном состоянии. Похоже, что она слишком дерзко пробивалась к особе государя и один из не в меру ретивых стражников ударил ее в грудь древком своей пики. Так, во всяком случае, говорили люди, вечером принесшие ее в беспамятстве на постоялый двор; сама она почти не могла говорить, ибо кровь текла у нее изо рта. Прощение из рук Лисбет спустя некоторое время взял какой-то рыцарь, сказал Штернбальду и добавил, что хотел тотчас же скакать домой с прискорбной вестью, но Лисбет, вопреки настояниям призванного к ней хирурга, потребовала, чтобы ее отвезли к мужу в Кольхаасенбрюкке, ни о чем заранее его не оповещая. Кольхаас перенес ее, вконец изнемогшую от дороги, на постель, и Лисбет, мучительно ловя ртом воздух, прожила еще несколько дней. Попытки вернуть ей сознание, чтобы узнать от нее, как случилось это несчастье, ни к чему не привели; она лежала недвижимая, с остановившимся и уже отсутствующим взором. Только перед самой смертью сознание вернулось к ней. Когда у ее постели уже стоял священник лютеранской веры (к этой только что возникшей религии^[13] она примкнула по примеру мужа) и громким прочувствованно-торжественным голосом читал из Библии, она устремила на священника затуманенный взор, взяла у него из рук книгу, словно не хотела слушать, и долго-долго ее листала, что-то ища, затем пальцем показала Кольхаасу, сидевшему у ее изголовья, стих: «Прости врагам твоим; делай добро и тем, что ненавидят тебя». Проникновенно посмотрела на него и скончалась.

«Пусть господь никогда не простит меня, как я никогда не прощу юнкера Тронка», — подумал Кольхаас, поцеловал ее — слезы безудержно лились по его лицу, — закрыл ей глаза и вышел из горницы.

Он взял те сто золотых гульденов, которые амтман заплатил ему за дрезденские конюшни, и заказал похороны, подобающие скорее владетельной княгине, чем бедной Лисбет: дубовый гроб, щедро обитый металлом, шелковые подушки с золотыми и серебряными кистями и

могила глубиной в восемь локтей, выложенная булыжниками, скрепленными известью. Сам он стоял возле ямы, держа на руках своего меньшенького, и наблюдал за могильщиками. В день похорон тело Лисбет в белоснежных одеждах было положено в зале, обитом по приказанию Кольхааса черным сукном. Едва священник договорил свое растроганное напутствие, как Кольхаасу принесли ответ на прошение, поданное покойной. Ответ гласил: ему надлежит забрать лошадей из Тронкенбурга и под угрозой тюремного заключения больше по этому делу жалоб не подавать. Кольхаас сунул письмо в карман и велел нести гроб на катафалк. Когда могила была засыпана землей и увенчана крестом, когда разошлись гости, съехавшиеся на похороны, он еще раз упал на колени перед ее навеки опустелым ложем и затем приступил к делу возмездия.

Кольхаас сел за свою конторку и в силу права, дарованного ему самой природой, написал приговор, обязывающий юнкера Венцеля фон Тронка в трехдневный срок, считая с проставленной даты, привести вороных, отнятых им у барышника Кольхааса и замороженных на полевых работах, в конюшни Кольхаасенбрюкке и самолично откармливать, покуда они не приобретут прежней стати. Эту бумагу он отослал с верховым, приказав ему тотчас же после вручения скакать обратно, в Кольхаасенбрюкке. Когда три дня истекли, а о лошадях не было ни слуху ни духу, он позвал Херзе и открыл ему свой замысел, — принудить юнкера откармливать вороных в его, Кольхааса, конюшнях, потом задал ему два вопроса: согласен ли Херзе ехать вместе с ним в Тронкенбург и увезти оттуда юнкера; и еще: если увезенный юнкер будет лениво работать в здешних конюшнях, согласен ли он поощрять его кнутом. И так как Херзе, едва до него дошел смысл этих слов, крикнул: «Да хоть сейчас, хозяин!» — подбросил в воздух шапку и радостным голосом сказал, что велит сплести себе ременную плетку о десяти узлах, — тут-то уж юнкер научится коней скребницей чистить, — то Кольхаас продал дом, посадил детей в карету и отправил их через границу в Шверин, а когда спустилась ночь, кликнул своих конюхов, семь человек, преданных ему душой и телом, роздал им оружие, коней и поскакал в Тронкенбург.

Уже на третью ночь с кучкой своих людей Кольхаас ворвался в замок, копытами коней растоптав сборщика пошлин и привратника, мирно беседовавших у ворот. Покуда с треском разваливались надворные постройки, которые они закидали горящими головнями, Херзе взбежал по винтовой лестнице в канцелярию, где управитель с кастеляном, полуодетые, играли в карты, и заколол, зарубил их; сам же Кольхаас кинулся в замок к юнкеру Венцелю. «Ангел мщения слетает с небес», —

возгласил юнкер под громкий хохот собравшихся в замке приятелей, ибо как раз читал им вердикт, переданный ему посланцем барышника, и не сразу расслышал голос последнего во дворе, но вдруг, покрывшись смертной бледностью, крикнул гостям: «Спасайтесь, друзья мои!» — и бросился вон из зала. Кольхаас у самых дверей преградил путь попавшемуся ему навстречу юнкеру Гансу фон Тронка, швырнул его в угол, так что мозг брызнул на каменный пол, и спросил, в то время как конюхи расправлялись с другими рыцарями, схватившимися было за оружие, где юнкер Венцель фон Тронка. Обеспамятевшие люди ничего не могли ему ответить; тогда он ударом ноги распахнул двери покоев, ведущих в боковые пристройки замка, обежал все обширное строение, но никого не нашел и, изрыгая проклятия, стремглав бросился во двор, чтобы поставить стражу у всех выходов. Меж тем огонь с дворовых строений перекинулся на замок, дым валил из окон, вздымаясь к небу, и в то время как Штернвальд с тремя расторопными конюхами хватили что ни попадя и бросали прямо под ноги своим лошадям, Херзе из окон канцелярии с ликующим хохотом выбрасывал трупы управителя, кастеляна, их чад и домочадцев.

Кольхаасу, сбежавшему по лестнице, бросилась в ноги скрюченная подагрой старуха, домоправительница юнкера; остановившись, он спросил, где юнкер Венцель фон Тронка, и так как она дрожащим, чуть слышным голосом ответила: ей кажется, что юнкер укрылся в часовне, то он кликнул двоих своих конюхов с факелами и, не имея ключей, велел взломать дверь ломом и топорами. Они обыскали всю часовню, опрокидывая алтари и скамьи, но юнкера, к вящей ярости Кольхааса, так и не обнаружили. Не успел Кольхаас выйти из часовни, как мимо него опрометью пробежал парень из тронкенбургской челяди к большой каменной конюшне, на которую вот-вот могло переброситься пламя, чтобы вывести ратных коней своего господина. В это самое мгновение Кольхаас заметил обоих своих вороных в сарайчике, крытом соломой, и спросил, почему он их не спасает. «Потому что сарай уже в огне», — отвечал парень, поворачивая ключ. Кольхаас с силой вырвал ключ из замка, швырнул его через стену и своим кинжалом стал плашмя колотить парня по спине, загоня в пылающий сарай; так, под громкий хохот окружающих, он заставил его спасти вороных. Однако, когда тот вышел из сарая, который мгновение спустя обрушился, ведя под уздцы лошадей, Кольхааса уже не было поблизости. Парень побежал на замковую площадь, где орудовали люди Кольхааса, и спросил их главаря, не удостоившего его даже взглядом, что делать с вороными. Тот обернулся и топнул ногой, словно желая раздавить его, ни слова не говоря, вскочил на своего каракового жеребца и под воротами

замка стал молча дожидаться наступления дня. Когда забрезжило утро, огонь оставил от замка лишь каменные стены и никого в нем не было, кроме Кольхааса и семерых его конюхов. Кольхаас слез с коня и при ярком свете солнца еще раз обшарил все углы и закоулки; с тяжелым сердцем убедившись, что нападение на замок не достигло цели, он послал Херзе и еще двоих разведать, в каком направлении скрылся юнкер. В первую очередь он подумал о богатой обители Эрлабрунн на берегу Мульде, где настоятельницей была Антония фон Тронка, известная всей округе как женщина благочестивой и святой жизни, ибо несчастный Кольхаас был почти уверен, что юнкер, гол как сокол, укрылся в этой обители, тем паче что настоятельница приходилась ему родной теткой и в раннем детстве была его воспитательницей. Учтя все это, он поднялся на башню канцелярии, в которой еще сохранилась одна комната, пригодная для жилья, и сочинил так называемый «Кольхаасов мандат»^[14]: в нем он призывал всех жителей не давать убежища юнкеру фон Тронка, с которым он ведет справедливую войну, вернее, вменял в обязанность каждому, включая родственников и друзей фон Тронка, под страхом смертной казни и сожжения всего имущества, движимого и недвижимого, выдать ему его заклятого врага. Этот мандат он распространил по округе через проезжих и вовсе незнакомых людей; более того, дал список с него Вальдману, своему конюху, строго наказав вручить бумагу госпоже Антонии в Эрлабрунне. Засим он переговорил с теми тронкенбургскими челядинцами, что были недовольны своим господином и хотели перейти к нему на службу, раззадорил их надеждой на богатую добычу, вооружил на манер пехоты арбалетами и кинжалами, научил ездить вторым на седле с его всадниками, превратил в деньги добычу, награбленную шайкой, и разделил ее между ними; только сделав все это, он несколько часов передохнул от горестных своих дел под воротами замка.

К полудню вернулся Херзе и подтвердил то, что говорило Кольхаасу его сердце, всегда исполненное наихудших предчувствий: юнкер действительно находился в Эрлабруннской обители у своей тетки, старой настоятельницы Антонии. Видимо, он выбрался через дверцу в задней стене замка, выходящую на наружную крытую лестницу, которая спускалась к Эльбе. Во всяком случае, рассказывал Херзе, в прибрежную деревню, к вящему удивлению жителей, собравшихся поглазеть на пожар в Тронкенбурге, он прибыл около полуночи в челне без руля и без весел и затем, уже на деревенской подводке, уехал дальше, в Эрлабрунн. При этом известии Кольхаас облегченно вздохнул.

— Лошади уже накормлены? — спросил он, и, получив

утвердительный ответ, крикнул: — По коням!

Через три часа он со своими людьми уже был у ворот обители в Эрлабрунне. Под дальние раскаты грома, с факелами, зажженными уже на месте, ворвался Кольхаас со своей шайкой в монастырский двор. Вальдман, его конюх, поспешивший ему навстречу, объявил, что мандат был им вручен; в это мгновение Кольхаас заметил настоятельницу, взволнованно разговаривавшую с монастырским кастеляном на ступеньках портала. В то время как кастелян, низкорослый, седой как лунь старикашка, торопливо надевал на себя кирасу и кричал слугам, его обступившим, чтобы они ударили в набат, настоятельница с серебряным распятием в руках, бледная как полотно, спустилась с лестницы и вместе со всеми своими монахинями пала ниц перед Кольхаасовым конем. Покуда Херзе и Штернвальд связывали кастеляна, у которого и меча-то при себе не было, и проводили своего пленника между конями, Кольхаас спросил ее, где юнкер фон Тронка. И так как она, отвязывая от пояса большую связку ключей, отвечала: «В Виттенберге, Кольхаас, достойный муж» — и дрожащим голосом присовокупила: «Побойся Бога и не твори неправого дела!» — то Кольхаас, вновь низринутый в ад неосуществленной мести, уже собрался крикнуть своим парням: «Поджигайте!» — как вдруг неистовый удар грома потряс землю. Повернув своего коня, Кольхаас спросил настоятельницу, получила ли она его мандат. Слабым, едва слышным голосом она ответила:

— Получила, только что.

— Когда?

— Через два часа, Бог тому свидетель, после отъезда моего племянника.

Вальдман, конюх, на которого Кольхаас бросил сумрачный взгляд, запинаясь подтвердил ее слова: вода в Мульде так поднялась от дождя, что он долго не мог переправиться и лишь несколько минут назад прискакал в монастырь. Кольхаас взял себя в руки, а внезапный ливень, загасивший факелы и громко застучавший по мощеному двору, утишил боль в его исстрадавшемся сердце. Он взмахнул шляпой перед настоятельницей, поворотил своего коня, пришпорил его и со словами: «За мной, братья! Юнкер в Виттенберге!» — ускакал из обители.

Когда спустилась ночь, им пришлось завернуть на постоялый двор и отдыхать там целые сутки, так как лошади очень устали. Кольхаас, уразумев, что с войском в десять человек (а именно столько приверженцев было у него теперь) не сможет выстоять против такого города, как Виттенберг, сочинил второй мандат, в котором, после краткого изложения того, что сделали с ним в Саксонии, сулил «каждому доброму

христианину», как он выражался, «приличный денежный задаток и прочие воинские преимущества», буде он присоединится к нему «в борьбе против юнкера фон Тронка, заклятого врага всего христианства».

В следующем мандате, написанном почти тотчас же, он именовал себя «человеком, неподвластным государственной, сиречь земной, власти и покорным лишь Господу Богу», — болезненно-уродливое самоупоение, — тем не менее звон его денег и виды на добычу привлекали к нему чернь, оставшуюся без куска хлеба после заключения мира с Польшей, да так привлекали, что в его шайке было уже тридцать душ, когда он снова отошел на правый берег Эльбы, готовясь сжечь Виттенберг. С конями и людьми укрылся Кольхаас в полуразрушенном кирпичном сарае, среди густого леса, в те времена еще окружавшего этот город. Кольхаас там простоял довольно долго, прежде чем Штернбальд, которого он переодетым посылал в город со своим мандатом, сообщил, что мандат горожанам уже известен; и вот вечером под самую Троицу, когда город погрузился в сон, он ворвался туда со своей шайкой и поджег Виттенберг одновременно с разных сторон [\[15\]](#). Покуда его парни грабили в предместье, сам он прибил на косяк церковной двери лист бумаги, на коем стояло: он, Кольхаас, поджег город, но, если ему не выдадут юнкера, сожжет его дотла, так что — это было его выражение — «никому не придется заглядывать через стену, чтобы этот город увидеть».

В ужас повергла жителей неслыханная наглость Кольхааса; к счастью, ночь была по-летнему безветренной, и огонь успел пожрать всего девятнадцать зданий, — правда, среди них и церковь. На рассвете, когда горожанам удалось немного сбить пламя, старик ландфохт [\[16\]](#) Отто фон Горгас уже выслал отряд в пятьдесят человек для поимки зарвавшегося злодея. Однако начальник отряда, некий капитан Герстенберг, действовал так неумело, что не только не уничтожил шайку Кольхааса, но посодействовал воинской славе последнего; этот вояка разделил отряд на мелкие группы, полагая, что так ему будет легче окружить и подавить противника. Кольхаас же, рассредоточивший своих людей, ударил по нему сразу в нескольких точках и так его разбил, что к вечеру следующего дня от отряда, на который возлагала надежды вся страна, не осталось ни единого человека. Кольхаас, в этом бою потерявший нескольких людей, на рассвете вновь поджег город, причем его злодейские умыслы выполнялись так точно, что в огне снова погибло множество домов, не говоря уже о пригородных амбарах, сплошь превратившихся в прах и пепел. Тогда он прибил свой мандат на углу ратуши, приписав к нему несколько слов

касательно участи посланного ландфохтом и уничтоженного им, Кольхаасом, отряда капитана фон Герстенберг. Взбешенный его упорством, ландфохт сам с несколькими рыцарями встал во главе ста пятидесяти всадников. К юнкеру фон Тронка, обратившемуся к нему с письменной просьбой, он приставил охрану, ибо народ жаждал его изгнания из города и готов был прибегнуть к насильственным действиям. Расставив на случай нападения сторожевые посты во всех окрестных деревнях, а также на городской стене, он сам в день святого Гервазия^[17] выехал на бой с драконом, опустошавшим страну. Кольхаас был достаточно умен, чтобы уклониться от встречи с его войском; хитроумными маршами он заставил ландфохта отойти на пять миль от города и к тому же поверить, будто теснимая превосходящими силами шайка спасается бегством за бранденбургскую границу. На третью ночь Кольхаас внезапно повернул, стремительным броском достиг Виттенберга и в третий раз зажег его. Осуществил это злодейство Херзе, переодетым прокрававшийся в город. И пламя из-за сильного северного ветра оказалось настолько пагубным, что менее чем за три часа пожрало сорок два дома, две церкви, несколько школ и монастырей и даже канцелярию ландфохта. Ландфохт, уверенный, что его противник ушел в Бранденбург, узнав о случившемся, стремительным маршем воротился в город, уже объятый мятежом. Тысячи жителей лагерем расположились у дома юнкера фон Тронка, загороженного грудями наваленных столбов и балок, и с неистовыми криками требовали его удаления из города. Двое бургомистров, Иенкенс и Отто, в одежде, присвоенной их званию, во главе всего магистрата тщетно толковали народу о необходимости дожидаться гонца, посланного к президенту государственной канцелярии с запросом касательно препровождения в Дрезден юнкера фон Тронка, куда тот и сам, по многим причинам, желал отбыть. Обезумевшая толпа, вооруженная дрекольем, их не слушала и, понося упорствующий магистрат, уже подготовилась взять штурмом и сровнять с землею дом, в котором отсиживался юнкер фон Тронка, когда в город прискакал ландфохт Отто фон Горгас со своими всадниками. Этому достойному господину, привыкшему одним своим присутствием внушать народу благоговение и покорство, удалось, как бы в отплату за неудачный поход, изловить у самых городских стен троих Кольхаасовых парней, отбившихся от шайки. Покуда их на глазах у народа заковывали в цепи, ландфохт в краткой и умной речи заверил, что в скором времени, как ему думается, будет схвачен и закован главный поджигатель; на след его уже напали. Эти успокоительные слова разрядили страх толпы и заставили ее отчасти примириться с тем, что юнкер пробудет в городе до возвращения

гонца из Дрездена.

Ландфохт спешился и приказал убрать заграждения; сопровождаемый несколькими рыцарями, он вошел в дом, где юнкер фон Тронка то и дело падал в обморок, несмотря на хлопоты двух врачей, пытавшихся эссенциями и другими возбуждающими средствами вернуть его к жизни. Господин Отто фон Горгас понял, что сейчас не время говорить с юнкером о его поведении, возымевшем столь печальные последствия. Молчаливо смерив его презрительным взглядом, он отрывисто приказал ему одеваться и следовать за ними — для его же сохранности — в рыцарский тюремный замок. На юнкера надели камзол и шлем, но ему все еще не хватало воздуха, и когда он, грудь нараспашку, опираясь на руки ландфохта и его зятя графа фон Гершау, вышел из дому, улица огласилась богохульными проклятиями. Народ, с трудом сдерживаемый ландскнехтами, обзывал его кровопийцей, окаянным мучителем, проклятием Виттенберга, чумой Саксонии. Печален был их путь по лежащему в развалинах городу; юнкер даже не замечал, что шлем несколько раз слетал у него с головы и один из рыцарей, шедший позади, подымал его и вновь нахлобучивал; наконец они пришли к тюрьме, и он скрылся в башне, охраняемой усиленным караулом.

Возвращение гонца с резолюцией курфюрста повергло город в новую тревогу; ибо правительство, ссылаясь на только что поступившее настойчивое ходатайство дрезденского бюргерства, слышать не хотело о прибытии фон Тронка в столицу, прежде чем не будет пойман злодей; более того, вменяло в обязанность ландфохту защищать юнкера, где бы он ни находился (а где-то он все же должен находиться), силами своего воинского отряда. Засим, для успокоения славного города Виттенберга, сообщалось, что войско численностью в пятьсот человек под началом принца Фридриха Мейссенского выступило, дабы впредь защищать его от злодея.

Ландфохт живо смекнул, что такого рода резолюция отнюдь не успокоит народ, ибо победы, одержанные конноторговцем в окрестностях города, вызвали к жизни преувеличенные и пренеприятные слухи о его возросшей мощи. Война, которую он со своими ряжеными парнями вел во мраке ночи — соломой, смолой и серой, война неслыханная и беспримерная, не отступила бы и перед большим войском, нежели приближающийся отряд принца Мейссенского. Не долго думая, ландфохт решил скрыть врученную ему резолюцию и приказал развесить на городских углах только списки с послания принца Мейссенского, возвещавшего о его скором прибытии. На рассвете из двора рыцарского тюремного замка выехала на Лейпцигскую дорогу занавешенная карета, которую сопровождали четверо вооруженных до зубов рейтаров^[18], каким-

то образом пустивших слух, что она направляется в Плейссенбург; а так как к этому времени народ уже поуспокоился насчет юнкера, из-за коего в городе лилась кровь и пылал огонь, то ландфохт с тремя сотнями воинов решил идти на соединение с отрядом принца Фридриха Мейссенского.

Между тем шайка Кольхааса, волею судеб занявшего столь странное положение, насчитывала уже сто девять человек и после нападения на склад оружия в Иессене была вооружена как нельзя лучше. Извещенный о двойной угрозе, на него надвигавшейся, Кольхаас принял решение не дать ей над собой разразиться, а со скоростью вихря лететь ей навстречу, уже следующей ночью под Мюльбергом он напал на отряд принца Мейссенского: однако в этом бою его постигло великое горе: первыми же выстрелами был убит Херзе, сражавшийся бок о бок со своим господином; но потрясенный потерей Кольхаас в трехчасовой битве так разгромил принца, что тот не сумел собрать своих солдат, а поутру, из-за собственных тяжелых ранений и полного развала отряда, был вынужден отступить к Дрездену. Упоенный этой победой, Кольхаас повернул, чтобы двинуться навстречу войскам ландфохта, и, покуда тому еще ничего не было известно, среди бела дня напал на него под деревней Дамеров; неся громадные потери, он с не меньшим успехом бился с ним до глубокой ночи и утром, разумеется, снова атаковал бы ландфохта на кладбище в Дамерове, куда тот укрылся с остатками своего войска, если бы лазутчик не донес ландфохту о поражении принца под Мюльбергом и тот не счел за благо вернуться в Виттенберг. Через пять дней после того, как были обращены в бегство оба отряда, Кольхаас был уже под Лейпцигом и зажег город с трех сторон. В мандате, выпущенном в этой связи, он именовал себя наместником архангела Михаила^[19], сошедшего с небес, чтобы огнем и мечом покарать весь мир, погрязший в пороках и коварстве, всех, кто встанет на сторону юнкера. Из Лютценского замка, в котором он засел, взяв его нахрапом, он призывал народ примкнуть к нему во имя устройства лучшего миропорядка. Под этим последним мандатом с кощунственным вызовом стояло: «Дано в замке Лютцен, резиденции нашего временного всемирного правительства».

На счастье лейпцигских жителей, всю ночь шел проливной дождь, не позволивший огню распространиться, к тому же и пожарные работали умело и быстро, так что выгорело всего лишь несколько мелочных лавок возле Плейссенбурга. И все-таки город был объят несказанным ужасом, ибо осадивший его злодей пребывал в ложной уверенности, что в его стенах находится юнкер фон Тронка. Тут в город возвратился отряд из ста восемнадцати рейтаров, высланный против Кольхааса и разбитый им. Магистрату, не желавшему рисковать богатствами города, осталось только

запереть ворота и заставить бюргеров денно и ночью нести караул за городскими стенами. Напрасно развешивали по окрестным деревням декларации магистрата, заверяющие, что юнкера нет в городе; Кольхаас в сходных листках утверждал, что юнкер в Лейпциге, но даже если его и нет в этих стенах, он все равно будет действовать, как будто он там, куда ему не назовут места его пребывания. Курфюрст, оповещенный гонцом о бедственном положении города Лейпцига, дал знать, что для поимки Кольхааса собирает войско в две тысячи человек и сам берет на себя командование таковым, господину же Отто фон Горгас объявил строгий выговор за недопустимую, хотя и хитроумную выдумку, с помощью которой тот выжил злодея из окрестностей Виттенберга.

Невозможно описать смятение, охватившее Саксонию, и прежде всего ее столицу, когда там стало известно, что в деревнях под Лейпцигом появились неизвестно кем развешанные обращения к Кольхаасу следующего содержания: «Юнкер Венцель находится в Дрездене у своих двоюродных братьев Хинца и Кунца».

Ввиду всех этих обстоятельств доктор Мартин Лютер,^[20] опираясь на свое незыблемое положение в свете, решил силою умиротворяющих слов вернуть Кольхааса на путь добропорядочности и, уповая на честное начало в сердце злодея и поджигателя, обратился к нему со следующим воззванием, развешанным по всем городам и весям курфюршества:

«Кольхаас, ты, возомнивший, что тебе вручен меч правосудия и справедливости! На что посягнул ты, наглец, ослепленный безумием своих страстей, ты, с головы до пят погрязший в несправедливости и злодействах? Лишь потому, что государь, подданным коего ты являешься, не признал твоей правоты в тяжбе из-за грошоваго добра, ты восстал, нечестивец, с огнем и мечом и, как волк пустыни, вламываешься в мирную паству, коей он служит оплотом. Ты, который своим измышлением, полным лжи и коварства, ввел в соблазн людей, не думаешь ли ты, грешник, надуть Господа Бога в день, что своим сиянием осветит все закоулки сердец человеческих? Как смеешь ты говорить, что твое право попорно, ты, чье лютое сердце свербит презренная жажда мести, ты, после первых же незадач отказавшийся от усилий вернуть себе это право? Выходит, что судейские чины и служители, утаившие письмо, им врученное, или задержавшие определение, каковое им надлежало препроводить, и суть твое правительство? А я должен сказать тебе, богопротивник: твое правительство знать не знает о твоём деле — да что я говорю! — государь, на коего ты ополчился, и об имени твоём понятия не имеет. И если ты

когда-нибудь предстанешь перед судом Всевышнего, вообразив, что приносишь жалобу на своего государя, тот с чистой совестью сможет сказать: этого человека, Господи, я ничем не обидел, ибо душа моя не ведала о его существовании. Знай же, меч в твоих руках — это меч разбоя и убийства, сам же ты мятежник, а не Господень воин, и участь твоя в этом мире — колесо и виселица, а на том свете — вечные муки, сужденные всем злодеям и безбожникам.

Мартин Лютер

Виттенберг и т. д.».

Кольхаас, ни в грош не ставя развешанное по деревьям сообщение, что юнкер-де находится в Дрездене, ибо оно никем не было подписано, тем более магистратом, как он того требовал, уже вынашивал в своем истерзанном сердце новый план сожжения Лейпцига, когда Штернвальд и Вальдман, к величайшему своему смущению, увидели под воротами замка кем-то прибитое ночью Лютерово воззвание. Несколько дней они тщетно надеялись, что Кольхаас, к которому они боялись с этим подступить, сам его увидит. Мрачный, погруженный в себя, он, правда, выходил вечером из своих покоев, но лишь затем, чтобы отдать краткие приказания, и ничего не замечал. Однажды утром, когда Кольхаас отдал приказ вздернуть двоих парней из своей шайки, вопреки его воле грабивших народ, они все же осмелились обратить его внимание на этот листок. Он возвращался с места казни, и народ робко расступался перед пышным шествием, — по-другому он не появлялся со времени своего последнего мандата, — перед ним несли огромный «меч справедливости» на алой кожаной подушке, украшенной золотыми кистями, за ним следовали двенадцать человек с горящими факелами. Тут оба его конюха с мечами под мышкой, что должно было удивить его, обогнули столб с прибитым на нем воззванием. Кольхаас, заложив руки за спину, углубленный в свои мысли, вошел в ворота, поднял взор и обомлел, оба парня почтительно попятнулись, он же, скользнув по ним рассеянным взглядом, сделал несколько быстрых шагов и оказался подле столба. Но кто опишет, что творилось в его душе, когда он прочитал листок, обличающий его в несправедливости, листок, на котором стояло самое дорогое, самое почитаемое имя из всех, которые он знал, — имя Мартина Лютера. Лицо его сделалось багровым, обнажив голову, он вновь перечитал написанное, дважды, от начала до конца; затем обернулся и, ни на кого не глядя, смешался с толпой своих верных слуг, словно желая что-то сказать, но ничего не сказал; снял листок со столба, еще раз его перечитал и крикнул:

— Вальдман, вели седлать моего коня! — Затем: — Штернбальд, следуй за мной в замок! — и ушел.

Немногих слов, к нему обращенных, оказалось достаточно, чтобы его обезоружить, чтобы он увидел себя во всем ничтожестве брэнного своего величия. Он быстро переоделся в платье тюрингского хлебопашца, сказал Штернбальду, что дело особой важности призывает его в Виттенберг; в присутствии некоторых наиболее надежных своих приближенных передал ему командование отрядом, остающимся в Лютцене, и, заверив их, что вернется через три дня — в этот срок вряд ли можно ожидать нападения, — отбыл в Виттенберг.

Под чужим именем он остановился на постоялом дворе и, едва спустилась ночь, завернулся в плащ, взял с собою два пистолета, которыми разжился в Тронкенбурге, и вошел в покой Лютера. Лютер сидел за своей конторкой, заваленной книгами и рукописями. Увидев странного незнакомца, открывшего дверь и тотчас ее за собою замкнувшего, он спросил, кто он такой и что ему угодно. Незнакомец, почтительно державший шляпу в руке, помедлив в предчувствии ужаса, который внушит его ответ, едва успел отрекомендоваться: «Михаэль Кольхаас, лошадиный барышник», как Лютер возопил: «Изыди, окаянный!» — вскочил с места и ринулся к сонетке, крича: «Твое дыхание — чума, твоя близость — гибель!»

Кольхаас, стоя на прежнем месте, вытащил пистолет и промолвил:

— Достопочтенный господин и учитель, если вы притронетесь к колокольчику, то этот пистолет бездыханным бросит меня к вашим ногам! Сядьте и выслушайте меня; поверьте, среди ангелов, псалмы которым вы слагаете, вы не были бы в большей безопасности, чем со мной.

Лютер, снова усевшись в кресло, спросил:

— Чего тебе надобно?

— Разубедить вас в том, что я несправедливый человек! В вашем воззвании вы сказали, что государь знать не знает и ведать не ведает о моем деле, так добудьте мне дозволение свободно передвигаться по стране, я поскачу в Дрезден и снова подам свое прошение.

— Безбожный, страшный человек! — воскликнул Лютер, сбитый с толку и в то же время успокоенный его словами. — Как ты посмел на основании собственных правовых домыслов преследовать юнкера фон Тронка, а не найдя его в замке, огнем и мечом карать общество, ему покровительствующее?

Кольхаас отвечал:

— Достопочтенный господин и учитель, отныне я никого и пальцем не

трону. Весть, что пришла ко мне из Дрездена, меня обманула и ввела в соблазн! Война, которую я веду с обществом, — преступление, поскольку оно, как вы меня заверили, не отторгло меня!

— Отторгло! — воскликнул Лютер, в упор глядя на него. — Что за шальные мысли владеют тобой? Кто мог тебя отторгнуть, отобщить от государства, в котором ты живешь? Слыханное ли дело, чтобы государство кого-либо, кто бы он ни был, от себя отторгало?

— Отторгнутым, — отвечал Кольхаас, сжимая кулаки, — я называю того, кому отказано в защите! А я в ней нуждаюсь для процветания мирного моего промысла; за помощью обращаюсь я к обществу, за охраной того, что мне принадлежит, и тот, кто мне в ней отказывает, изгоняет меня к дикарям в пустыню, дает мне в руки дубину для самозащиты.

— Кто отказал тебе в защите закона? — вскричал Лютер. — Разве я не писал тебе, что прошение, тобою поданное, не попало в руки государя, которому ты его предназначал? Если государевы слуги за его спиной кладут под сукно судебные дела или еще как-нибудь злоупотребляют его неведением, его священным именем, кому же, кроме Господа Бога, спрашивать с него ответа за выбор дурных слуг, а тебе, богоотступник, тебе, страшный человек, кто дал тебе право судить его?

— Пусть так, — ответил Кольхаас, — если государь не отторг меня, я вернусь в общество, что находится под его защитой. Повторяю, добудьте мне дозволение поехать в Дрезден, и я распущу отряд, по моему приказанию сосредоточенный в Лютценском замке, и вторично подам жалобу в трибунал.

Лютер угрюмо перекидывал с места на место бумаги, лежавшие на столе, и молчал. Независимая позиция в государстве, занятая этим странным человеком, его возмущала. Раздумывая о приговоре, который тот послал юнкеру из Кольхаасенбрюкке, Лютер спросил, чего он, собственно, ждет от дрезденского трибунала. Кольхаас отвечал:

— Наказания юнкера в соответствии с законом, приведения коней в прежний вид, а также возмещения убытков, которые понесли я и мой конюх Херзе, павший под Мюльбергом, из-за насилия, над нами учиненного.

— Возмещения убытков! — разгневался Лютер. — Тысячи ты нахватал у евреев и христиан под векселя и заклады для покрытия расходов по твоей неистовой мести. Ты и эти суммы станешь искать, ежели дело дойдет до иска?

— Боже избави, — отвечал Кольхаас, — ни земли, ни дома, ни благосостояния, что было у меня, я обратно не потребую, равно как и того, что я истратил на похороны жены! Старуха, мать Херзе, представит счет за

лечение и перечень вещей, поневоле оставленных ее сыном в Тронкенбурге. Что касается убытка, понесенного мною из-за непродаж вороних, то правительство должно будет определить его сумму с помощью сведущих людей.

— Неистовый, непостижимый и ужасный человек! — произнес Лютер, взглядываясь в него. — Теперь, когда твой меч с неслыханной жестокостью отомстил юнкеру, что заставляет тебя еще домогаться судебного приговора над ним — ведь меч правосудия не больно его коснется?

— Достопочтенный господин и учитель, — отвечал Кольхаас, и слеза скатилась по его щеке, — я заплатил за это жизнью жены; Кольхаас должен доказать миру, что она умерла за справедливое дело. Только в одном не чините препятствий моей воле: пусть свершится суд; во всем остальном, как бы оно ни было спорно, я покорюсь вашей.

Лютер ему отвечал:

— Послушай, вдумайся, чего ты требуешь? Ежели все обстоит так, как говорят люди, правда на твоей стороне; и если бы ты эту тяжбу, прежде чем самовластно мстить юнкеру, предоставил решить государю, не сомневаюсь, он, пункт за пунктом, признал бы твою правоту. Но не лучше было бы тебе все взвесить и во имя Господа нашего Иисуса Христа простить юнкера, взять под уздцы твоих вороних, пусть отощавших и изможденных, сесть на коня и отвести их в родную конюшню на откорм и поправку?

Кольхаас подошел к окну и процедил сквозь зубы:

— Возможно, и лучше, а возможно, и нет! Знай я, что кровь из сердца любимой моей жены пойдет на потребу коням, возможно, я поступил бы, как вы говорите, достопочтенный господин и учитель, и не поскупился бы на меру овса! Но раз уж я такой ценою заплатил за них, то, думается мне, надо, чтобы все шло своим чередом. Пусть суд вынесет решение, какое довлеет мне, а юнкер принимается за откорм лошадей.

Лютер, снова в задумчивости перебирая свои бумаги, сказал, что вступит в переговоры с курфюрстом по Кольхаасову делу, ему же тем временем надлежит смиренно сидеть в Лютценском замке. Если государь даст ему свободный допуск в Дрезден, его известят об этом грамоты, развешанные по городам и весям.

— Правда, я не знаю, — добавил Лютер, когда Кольхаас нагнул, чтобы поцеловать его руку, — угодно ли будет курфюрсту сменить гнев на милость; ибо дошло до меня, что он велел снарядить отряд и осадить тебя в Лютценском замке: от моего заступничества, как я уже сказал, тут мало что зависит. — С этими словами он поднялся, давая понять, что разговор окончен. Кольхаас сказал, что заступничество, обещанное Лютером в этой

части его дела, вполне его успокоило. Лютер хотел было сделать прощальный жест рукой, но его гость внезапно встал на одно колено и признался, что еще одна просьба есть у него за душой. Из-за воинственной своей затеи ему, против обыкновения, не удалось быть в церкви в Троицын день и причаститься тела Господня, а потому не соблаговолит ли Лютер принять исповедь и приобщить его благодати святого таинства?

Лютер, немного подумав, — при этом он пронзительно смотрел на Кольхааса, — ответил:

— Да, Кольхаас, я это сделаю! Но помни: Господь, тела коего ты алчешь вкусить, простил врагам своим. Прости и ты юнкеру, тебя обидевшему, отправляйся в Тронкенбург, заведи своих вороных и скачи с ними в Кольхаасенбрюкке, где их будут откармливать и холить.

— Достопочтенный господин и учитель, — краснея, проговорил Кольхаас, прикоснувшись к его руке, — Господь тоже простил не всем врагам своим. Не гневайтесь на меня. Я не буду помнить зла обоим моим государям, кастеляну и управителю, господам Хинцу и Кунцу, всем, кто оскорбил и обидел меня, но юнкера, если удастся, я все же заставлю собственноручно откармливать моих коней.

Вместо ответа Лютер смерил его сердитым взглядом, повернулся спиной, дернул сонетку и снова занялся своими бумагами. Когда в сенях появился фамулус^[21] со свечой в руках и стал тщетно дергать дверь, запертую изнутри, Кольхаас, вытирая слезы, поднялся с колен, шагнул к двери и отпер ее. Лютер искоса поглядел на своего посетителя, приказал слуге: «Посвети!»— после чего тот, несколько смешавшись при виде гостя, снял со стены ключи от дома и, дожидаясь его ухода, отошел к полуоткрытой двери. Кольхаас, уже держа в руках шляпу, обратился к хозяину дома:

— Итак, достопочтенный господин и учитель, мне, видно, нечего ждать благоденствия, о котором я просил вас, и душе моей не суждено примирение?

— Со Спасителем — нет, а перед государем я обещал за тебя заступиться и сдержу свое слово! — Он подал знак фамулусу без дальнейших промедлений проводить посетителя. Кольхаас с болезненно искаженным лицом прижал обе руки к груди, последовал за слугой, светившим, покуда он спускался с лестницы, и вышел из Лютерова дома.

На следующее утро Лютер направил послание курфюрсту Саксонскому, в коем он, сурово упрекая обоих господ фон Тронка, состоящих при особе его светлости, камергера Кунца и кравчего Хинца, за утайку пресловутой жалобы, тут же со свойственной ему прямою заявлял

государю, что при ныне сложившихся сугубо прискорбных обстоятельствах остается только, невзирая на происшедшее, принять предложение конноторговца и предоставить ему возможность возобновить судебное разбирательство. Общественное мнение, продолжал он, угрожающим образом приняло сторону этого человека: ибо даже в трижды сожженном Виттенберге нашелся голос, поднявшийся в его защиту. Ежели сие предложение будет отклонено, то конноторговец, уж конечно, не замедлит в самых изблительных выражениях довести обо всем до сведения народа, гнев народный примет тогда такие размеры, что государственной власти его уже не сдержать. В заключение Лютер дал совет в этом из ряда вон выходящем случае не счесть недопустимыми переговоры со взявшимся за оружие гражданином. Поскольку совершенная над ним несправедливость и в самом деле поставила его вне круга установленной государством законности, он, Лютер, думает, что лучше было бы отнестись к нему как к вторгшейся в страну иноземной силе, каковою он, будучи иноземцем, отчасти и является, а не как к мятежнику, восставшему против венценосца.

Курфюрст получил это послание, когда во дворце находились принц Кристиерн Мейссенский, генералиссимус империи и дядя побежденного под Мюльбергом и все еще не оправившегося от ран принца Фридриха Мейссенского, а также гротканцлер трибунала^[22] граф Вреде, граф Кальхейм, президент государственной канцелярии, господа Хинц и Кунц фон Тронка, камергер и кравчий, друзья юности курфюрста. Первым взял слово камергер, господин Кунц, в качестве тайного советника ведавший секретной корреспонденцией курфюрста и уполномоченный пользоваться его именем и печатью. Еще раз пространно объяснив, что он-де никогда бы не позволил себе утаить жалобу на своего двоюродного брата, поданную в трибунал барышником, если бы его не убедили, что это поклеп, пустой и безосновательный, он перешел к разбору настоящего положения вещей. Ни божеские, ни человеческие законы, сказал он, не давали барышнику права на столь страшную месть из-за досадного недоразумения; далее красноречиво расписал, сколь блистательный ореол засияет над нечестивой головой Кольхааса, если с ним вступят в переговоры как с правомочным военачальником; позор, который при этом неминуемо падет на священную особу курфюрста, представлялся ему нестерпимым, и в пылу своего красноречия он договорился до того, что лучше уж исполнить требование обезумевшего бунтовщика и послать юнкера, его двоюродного брата, самолично откармливать вороных в Кольхаасенбрюкке, нежели согласиться с предложением доктора Лютера. Гротканцлер трибунала граф Вреде выразил сожаление, что щепетильная заботливость о славе повелителя,

высказанная камергером при обсуждении этого и впрямь пренеприятного дела, не проявилась более своевременно. Он сказал далее, что, по его мнению, государственной власти не пристали явно несправедливые меры, с многозначительным видом упомянул о том, что народ и поныне стекается к Кольхаасу, что нить злодеяний, таким образом, может виться до бесконечности и только немедленное и справедливое решение, без оглядок на допущенную ошибку, в состоянии порвать эту нить и помочь правительству выпутаться из весьма некрасивой истории. Принц Мейссенский, спрошенный курфюрстом, что он об этом думает, почтительно поклонившись канцлеру, отвечал, что точка зрения, высказанная последним, внушает ему глубочайшее уважение; однако, заступаясь за права Кольхааса, не забывает ли канцлер, что Виттенберг и Лейпциг, так же, впрочем, как и вся опустошенная Кольхаасом страна, будут тем самым ущемлены в своих справедливых претензиях на возмещение убытков или по меньшей мере на заслуженную кару злодея. Государственный порядок во всем, что касается этого человека, до такой степени нарушен, что никакими правовыми уложениями его все равно не восстановишь. Посему он поддерживает мнение камергера и, в свою очередь, предлагает применить единственно действенное в подобных случаях средство, а именно: собрать достаточно многочисленное войско, двинуть его на Лютцен, где засел Кольхаас, и либо взять мятежного барышника измором, либо выгнать его оттуда. Камергер, отодвинув два стула от стены, любезно подал их ему и курфюрсту, говоря, как его радует, что человек столь высокого ума и столь высокой души согласен с ним в выборе средства для прекращения сего сомнительного дела. Принц, положив руку на спинку стула, но не садясь, пронзительно на него взглянул и сказал, что у камергера вряд ли есть причины радоваться, ибо в этой связи прежде всего пришлось бы издать приказ об его аресте за злоупотребление именем курфюрста. Если уж необходимость требует, чтобы перед престолом справедливости была опущена завеса для сокрытия целого ряда злодеяний, друг друга породивших и столь бесчисленных, что им уже не вместиться в стены судилища, то это не относится к первому злодеянию, явившемуся первопричиной последующих; обвинение конноторговца во всем, им содеянном, дало бы праву государству вынести ему смертный приговор, тогда как дело его в основе своей справедливо. При этих словах камергер в изумлении посмотрел на курфюрста, а тот, густо покраснев, отошел к окну. Граф Кальхейм, желая прервать воцарившееся неловкое молчание, заметил, что так им не выйти из заколдованного круга, в который они попали. Ведь с не меньшим

основанием можно привлечь к ответственности и его племянника, принца Фридриха: предприняв довольно своеобразный набег на Кольхааса, принц, в свою очередь, и даже неоднократно, превысил данные ему полномочия, и притом в такой мере, что его, безусловно, можно сопричислить к тем, на кого ложится вина за создавшееся ныне положение и кто, собственно, должен быть призван курфюрстом к ответу за разгром под Мюльбергом. Кравчий, господин Хинц фон Тронка, к столу которого приблизился растерянный курфюрст, поспешил взять слово. Ему, мол, невдомек, как это собравшиеся здесь умудренные опытом люди не могут прийти к решению, отвечающему интересам государства. Насколько ему известно, Кольхаас намерен распустить шайку, с коей он ворвался в страну, за одно лишь обещание пересмотра его дела и разрешение на въезд в Дрезден. Отсюда, однако, не следует, что он заслуживает помилования за свою преступную и самочинную месть; это два различных правовых понятия, в чем, видимо, недостаточно отдают себе отчет как доктор Лютер, так и государственный совет.

— Если, — продолжал он, держа указательный палец вровень со своим носом, — дрезденский трибунал решит дело об этих воронах в пользу Кольхааса, ничто не помешает запрятать его в тюрьму за поджоги и разбой: с государственной точки зрения вполне разумный выход, который соединит в себе требования обеих сторон и будет одобрен современниками и потомством.

Поскольку принц и гроссканцлер на речь кравчего, господина Хинца, ответили всего лишь холодным взглядом и тем самым как бы закрыли собрание, курфюрст заявил, что к следующему заседанию совета обдумает высказанные здесь мнения. Похоже было, что предварительные меры, предложенные принцем, отбили у мягкосердечного курфюрста охоту предпринимать уже давно подготовленный поход против Кольхааса. Так или иначе, но он попросил остаться гроссканцлера графа Вреде, чье мнение представлялось ему наиболее разумным. Тот показал ему письма, из коих явствовало, что войско Кольхааса уже возросло до четырехсот человек, а принимая во внимание недовольство недостойным поведением камергера, царившее в Саксонии, в ближайшее время грозило возрасти вдвое, если не втрое: прочитав их, курфюрст без дальнейших околичностей решил принять совет доктора Лютера. Посему дело Кольхааса было отдано в руки графа Вреде, и уже несколько дней спустя повсюду был развешан указ, основное содержание которого сводилось к следующему:

«Мы, курфюрст Саксонский и прочая и прочая, сим объявляем, что,

получив послание доктора Мартина Лютера, ходатайствующего за Михаэля Кольхааса, лошадиного барышника из курфюршества Бранденбургского, решили милостиво удовлетворить его ходатайство, и при условии, что Кольхаас в течение трех дней сложит оружие, мы разрешаем ему поездку в Дрезден для возбуждения ходатайства о пересмотре его дела: если дрезденский трибунал паче чаяния откажется удовлетворить его иск касательно вороних коней, поступить с Кольхаасом по всей строгости закона и взыскать с него за самоуправство; в противном же случае даровать ему и его шайке амнистию за все насильственные действия, учиненные ими в Саксонии».

Не успел Кольхаас получить от доктора Лютера экземпляр этого повсеместно расклеенного указа, как он, не считаясь с ограничительным характером такового, распустил свое воинство, щедро одарив каждого, всех поблагодарив за верную службу и снабдив наставлениями на будущее. Всю же остальную свою добычу — деньги, оружие и разную утварь — вручил как достояние курфюрста на хранение суду в Лютцене; послал Вальдмана в Кольхаасенбрюкке с письмом к амтману насчет выкупа своей мызы, ежели тот на это пойдет, а Штернвальда — в Шверин за детьми; засим он покинул Лютценский замок и, никем не узанный, отправился в Дрезден, имея при себе остаток своего состояния в ценных бумагах.

Утро еще только занималось и весь город спал, когда он постучался в дверь своего домика в предместье Пирна, сохранившегося за ним благодаря честности амтмана, и велел открывшему ему Томасу, старому дворнику, который, увидев хозяина, долго не мог прийти в себя от удивления, чтобы тот шел в город и сообщил принцу Мейссенскому, что он, Кольхаас, прибыл в Дрезден. Принц Мейссенский, услышав об этом, счел за благо немедленно и самолично убедиться, как относятся к Кольхаасу в народе; и что же, когда он со своими рыцарями и свитой показался на улицах, ведущих к Кольхаасову дому, они уже были до отказа забиты толпами народа. Весть о том, что в городе появился «ангел смерти», тот, что огнем и мечом разит поработителей народа, подняла на ноги вся и всех. Ворота Кольхаасова дома пришлось закрыть на засов, чтобы сдержать натиск толпы; мальчишки по ограде карабкались к окнам, стремясь хоть одним глазком взглянуть на поджигателя и убийцу, сидевшего за завтраком. Принц с помощью вооруженной стражи, расчищавшей ему дорогу, проник наконец в дом и тотчас же спросил полуодетого Кольхааса, поднявшегося из-за стола, он ли есть конноторговец Кольхаас. Тот, вытащив из-за пояса бумажник со всеми документами, почтительно протянул его принцу,

ответил «да!» и добавил, что, распустив свой отряд, прибыл в Дрезден согласно разрешению курфюрста для подачи в суд жалобы на юнкера Венцеля фон Тронка по поводу своих вороных.

Принц, окинув его с ног до головы быстрым взглядом, пробежал глазами документы, находившиеся в бумажнике, и попросил объяснить, что означает выданное лютценским судом свидетельство о приеме на хранение драгоценностей, принадлежащих курфюрсту. Желая получше уяснить себе, что за человек перед ним, он задал ему еще несколько вопросов касательно его детей, состояния, планов на будущее и, убедившись, что он не внушает опасений, вернул ему бумаги, сказав, что никаких препятствий для возобновления судебного дела более не существует, и для того, чтобы начать процесс, Кольхаасу надо только лично обратиться к гротканцлеру трибунала графу Вреде. Подойдя к окну и удивленно поглядев на собравшуюся у дома толпу, принц сказал:

— Придется к тебе на время приставить стражу, она будет охранять тебя как в доме, так и за его стенами.

Кольхаас опешил, потупился и ни слова ему не ответил.

— Как бы то ни было, — отходя от окна, промолвил принц, — а во всем случившемся тебе, кроме себя, винить некого. — С этими словами он направился к двери.

— Как вам будет угодно, ваша милость, — опомнившись, сказал Кольхаас, — если вы даете мне слово, что я волен буду отпустить стражу, когда мне вздумается, то больше мне нечего сказать.

Принц ответил, что это само собой разумеется, объяснил троим ландскнехтам, вошедшим в комнату, что человек, к которому они приставлены, свободен, что их обязанность только охранять его и следовать за ним по городу, движением руки простился с Кольхаасом и вышел.

Около полудня Кольхаас, сопровождаемый своими ландскнехтами, а также многочисленной толпой, которая согласно предупреждению полиции ничем его не беспокоила, отправился к гротканцлеру трибунала графу Вреде. Граф принял его весьма дружелюбно и обходительно, битых два часа провел в беседе с ним и, выслушав от начала до конца всю его историю, направил Кольхааса для написания жалобы к служащему в суде и прославленному на весь город адвокату. Кольхаас немедленно к нему пошел. После того как была составлена жалоба, в коей речь шла о наказании согласно закону юнкера фон Тронка, о восстановлении лошадей в прежнем виде и возмещении убытков ему, Кольхаасу, а также матери его конюха Херзе, павшего под Мюльбергом, словом, тождественная первой, отклоненной судом, он, по-прежнему сопровождаемый толпой зевак,

отправился домой, твердо решив никуда более не выходить или разве что по самым неотложным делам.

Меж тем в Виттенберге и юнкер фон Тронка был освобожден из-под ареста; не успел он излечиться от опасного рожистого воспаления на ноге, как ему пришел безотлагательный вызов в дрезденский трибунал по жалобе конноторговца Кольхааса, обвиняющего его в незаконном захвате лошадей и приведении таковых в полную негодность. Двоюродные братья, камергер и кравчий, в доме которых он остановился, встретили юнкера с презрительным негодованием; как только они его не честили: он-де ничтожество и мерзавец, навлекший стыд и позор на всю семью, ему-де нечего и думать о том, чтобы выиграть процесс; советовали на потеху всему свету уже сейчас готовиться к самоличному откорму лошадей, ибо таков, несомненно, будет приговор. Юнкер дрожащим, чуть слышным голосом пробормотал, что он несчастнейший из людей, клялся и божился, что только краем уха слышал об этой злосчастной истории с лошадьми, ввергшей его в беду, в ней-де кругом виноваты кастелян и управитель, которые без его ведома воспользовались ими на уборке урожая и непосильной работой, главным образом на собственных полях, вконец их замучили. Произнося эту тираду, он опустил в кресло и стал умолять не издеваться над ним и оскорблениями не доводить его вновь до болезни, от коей он едва оправился. На следующий день господа Хинц и Кунц, владевшие поместьями в окрестностях испепеленного Тронкенбурга, по настоянию двоюродного брата, написали — да и что им еще оставалось делать — своему управителю, а также арендатору, спрашивая, не известно ли им, что случилось с воронами, пропавшими в злополучный день пожара. Однако в опустелой округе, где вырезаны были почти все жители, тем удалось лишь разведать, что один из работников, которого Кольхаас побоями загнал в охваченный пламенем сарай, вывел оттуда коней, но затем, вместо ответа на свой вопрос, что с ними делать и куда идти, получил от злодея только пинок ногой. Старая, скрюченная подагрой домоправительница юнкера, сбежавшая в Мейссен, на письменный запрос хозяина отвечала, что наутро после той ужасной ночи работник вместе с лошадьми двинулся к бранденбургской границе. Однако справки, наведенные в Бранденбургском курфюршестве, ни к чему не привели, старуха, надо думать, ошиблась, у юнкера не было ни одного работника, жившего в Бранденбурге или хотя бы по дороге в Бранденбург. Правда, несколько дрезденских жителей, через два-три дня после сожжения Тронкенбурга побывавших в Вильсдруфе, показали, что им встретился работник, ведший под уздцы двух коней темной масти; измученные кони

едва плелись, и ему волей-неволей пришлось оставить их в коровнике у одного пастуха, который взялся их выводить. Похоже было, что это те самые пресловутые вороны. Однако вильсдруфские жители уверяли, что пастух их перепродал, а кому — неизвестно; еще поговаривали — но кто пустил этот слух, осталось невыясненным, — будто кони давно предстали перед Господом и кости их зарыты в Вильсдруфе на свалке.

Господам Хинцу и Кунцу подобный оборот дела, как нетрудно догадаться, пришелся очень по душе, ибо он избавлял их от необходимости выкармливать и выхаживать вороных в собственной конюшне за неимением более таковой у их двоюродного брата, вот они и старались найти подтверждение обнадеживающему слуху. Исходя из этого, господин Венцель фон Тронка как наследник ленного поместья и лицо, облеченное судебной властью, обратился с посланием к членам суда в Вильсдруфе, прося помочь ему разыскать двух вороных коней — далее следовало подробное их описание, — будто бы ему доверенных и пропавших по несчастной случайности, и предложить нынешнему владельцу, кто бы он ни был, за щедрое вознаграждение привести их в конюшню господина камергера Кунца в Дрездене.

Посему через несколько дней в городе и вправду появился человек, купивший злополучных коней у вильсдруфского пастуха; привязанные к задку телеги отощавшие клячи едва передвигали ноги, когда он направлялся с ними на городской рынок. На беду господина Венцеля, а также славного Кольхааса, этот человек оказался живодером из Деббельна.

Как только господин Венцель и его двоюродный брат камергер прослышали, что кто-то привел в город двух черных коней, уцелевших при пожаре в Тронкенбурге, они, прихватив с собою нескольких слуг, поспешили на площадь в надежде, буде это окажутся Кольхаасовы вороны, возместить этому человеку понесенные расходы и забрать их в свою конюшню. Но какова же была растерянность обоих рыцарей при виде огромного стечения народа на площади, привлеченного редким зрелищем. Толпа, непрерывно возрастающая вокруг двуколки с привязанными к ней одрами, покатывалась со смеху, крича: «А ведь кони-то, пошатнувшие устои государства, уже угодили в лапы к живодеру!» Юнкер, в смущении ходивший вокруг да около, наконец приблизился к жалким клячам, которые, казалось, вот-вот околеют, и пробормотал, что нет, не этих вороных он отобрал у Кольхааса. Но господин Кунц бросил на Венцеля несказанно свирепый взгляд, способный на куски разнести его, будь он даже из железа, распахнул свой плащ, чтобы видны были его цепь и ордена, подошел к живодеру и спросил: те ли это вороны, которых

присвоил пастух из Вильсдруфа и которых разыскивает теперь через суд их владелец, юнкер Венцель фон Тронка? Живодер как раз принес воды, чтобы напоить своего раскормленного ломового конягу; он пробормотал: «Это черные-то?» — поставил ведро наземь и, разнуздав коня, наконец соизволил ответить: вороных, привязанных к телеге, ему продал свинопас из Хайнихена. А где этот свинопас их раздобыл, у вильсдруфского пастуха или у кого другого, он знать не знает. Гонец из суда вручил ему приказ — он поднял ведро, прислонил его к оглобле, а дно подпер коленкой — привести лошадей в Дрезден, к некоему фон Тронка, только что звать этого фон Тронка Кунцем. С этими словами он выплеснул на мостовую недопитую конем воду. Камергер, которому под насмешливыми взглядами толпы не удавалось заставить парня, невозмутимо занимавшегося своим делом, хотя бы повернуться к нему, сказал, что он и есть камергер фон Тронка, лошади же, надо думать, принадлежат его двоюродному брату. Один из работников вывел их из Тронкенбурга во время пожара, затем они попали к пастуху в Вильсдруфе, поначалу же были собственностью конноторговца Кольхааса. Он спросил парня, который, широко расставив ноги, подтягивал штаны, неужто же он об этом не знал. И не достались ли они свинопасу из Хайнихена — последнее чрезвычайно существенно для всего дела — от вильсдруфского пастуха или от кого-нибудь еще, кто их у него купил. Живодер, встав спиной к площади, помочился у телеги и сказал, что ему было приказано привести вороных в Дрезден и получить за них денежки с этих самых фон Тронка. А что там было раньше, он знать не знает; может, до свинопаса из Хайнихена они принадлежали Петру или Павлу, а не то пастуху из Вильсдруфа, — ему все едино, благо кони не краденые. И, заложив кнутовище за свою широченную спину, отправился в трактир тут же, на площади, так как изрядно проголодался с дороги. Камергер, понятия не имевший, что ему делать с лошадьми, проданными свинопасом из Хайнихена живодеру из Деббельна, если они не те самые, на которых черт промчался через всю Саксонию, потребовал, чтобы юнкер сказал свое слово. Когда тот бледными, дрожащими губами пролепетал, что, по его мнению, вороных надо купить, независимо от того, Кольхаасовы это кони или нет, взбешенный камергер стал выбираться из толпы. В это мгновение мимо проезжал верхом некий барон фон Венк, знакомый камергера; тот его окликнул и попросил заехать к канцлеру графу Вреде, чтобы при содействии последнего заставить Кольхааса явиться на площадь для опознания лошадей, сам же, желая досадить сброду, потешавшемуся над ним, — в толпе прижимали к губам платки, дожидаясь только его ухода, чтобы прыснуть со смеху, — остался на площади.

Случилось так, что Кольхаас, вызванный для дополнительных показаний по лютценскому делу, сидел у канцлера, когда барон, выполняя данное ему поручение, вошел в комнату. Гроссканцлер с раздосадованной миной поднялся со своего кресла, оставив Кольхааса, которого барон не знал в лицо, стоять в стороне с бумагами в руках. Барон рассказал, в сколь затруднительном положении находятся господа фон Тронка. Из-за неправильно составленного требования вильсдруфского суда в город прибыл деббельнский живодер с лошадьми, до того безбожно заморенными, что юнкер Венцель не решается признать их за Кольхаасовых вороных, а посему желательно, чтобы Кольхаас, лично осмотрев коней, пресек все сомнения. И добавил:

— Если возможно, пошлите стражников за конноторговцем, и пусть они препроводят его на рыночную площадь, где сейчас находятся лошади.

Гроссканцлер, сняв с носа очки, заявил, что барон пребывает в двойном заблуждении, во-первых, полагая, что вышеупомянутое обстоятельство может быть выяснено только путем осмотра лошадей Кольхаасом; и, во-вторых, воображая, что он, канцлер, уполномочен под стражей препровождать Кольхааса, куда заблагорассудится юнкеру фон Тронка. Засим он представил ему конноторговца, стоявшего за его креслом, уселся и, снова надев очки, предложил с этим делом обратиться непосредственно к Кольхаасу.

Кольхаас, ни единым движением не выдав того, что творилось у него в душе, выказал готовность последовать за бароном на рыночную площадь для осмотра лошадей, приведенных живодером. Смешавшийся барон оборотился было к Кольхаасу, но тот опять подошел к столу гроссканцлера и, вынув из своего бумажника еще какие-то документы, касающиеся драгоценностей, сданных на хранение в лютценский банк, испросил дозволения уйти. Барон, с побагровевшим лицом отошедший было к окну, в свою очередь, откланялся. Оба в сопровождении трех ландскнехтов, приставленных к Кольхаасу принцем Мейссенским, и целой толпы народа отправились на рыночную площадь.

Камергер Кунц, не слушая уговоров своих невесть откуда взявшихся приятелей, упорно продолжал стоять на том же месте насупротив живодера. При появлении барона с Кольхаасом он немедленно подошел к последнему и, гордо держа свой меч под мышкой, спросил, его ли это кони привязаны к телеге. Кольхаас приподнял шляпу перед незнакомым господином и, ни слова ему не ответив, направился к телеге живодера; рыцари следовали за ним по пятам. Остановившись шагах в двадцати от коней, что понуро стояли на подгибавшихся ногах, не притрагиваясь к сену,

брошенному им живодером, он окинул их взглядом и повернулся к камергеру со словами:

— Сударь, живодер сказал правду — кони, привязанные к телеге, мои! — и, еще раз приподняв шляпу, удалился с площади, сопровождаемый своими ландскнехтами.

Камергер быстрыми шагами, так что султан на его шляпе заколыхался, подошел к живодеру и бросил ему туго набитый кошелек; покуда тот, расчесывая оловянным гребнем волосы, тарасился на деньги, камергер велел слуге отвязать лошадей и свести их к нему домой. Слуга, услышав приказ хозяина, покраснел, отошел от группы приятелей и родственников, которых у него в толпе было допдна, перешагнув через навозную жижу и приблизился к лошадям. Но не успел он взяться за недоуздок, чтобы отвязать их, как один из его родичей, мастер Химбольдт схватил его за руку и со словами: «Не смей трогать живодеровых кляч!» — оттолкнул от телеги. Тот поплелся через навозную жижу обратно, к камергеру, в безмолвном изумлении созерцавшему эту сцену, и пробормотал: пусть, мол, камергер для таких услуг нанимает себе живодерного подмастерья. Камергер, зайдясь от злости, кинул свирепый взгляд на мастера Химбольдта и через головы окружавших его рыцарей крикнул: «Стражу сюда!» Меж тем согласно приказу барона фон Венк из ворот замка вышел офицер с небольшим отрядом дворцовой стражи; камергер поспешил сообщить ему, что жители города отважились на подстрекательство к бунту, и потребовал ареста зачинщика, мастера Химбольдта. Схватив последнего за куртку, он обвинил его в грубом обхождении со слугой, которого Химбольдт оттащил от телеги, когда тот, по его, камергера, приказу собирался отвязать вороных. Мастер, ловко вывернувшись из рук камергера, воскликнул:

— Сударь, поучать двадцатилетнего паренька не значит заниматься подстрекательством! Спросите-ка, в охоту ли ему, против всех обычаев и правил, возиться с такими конягами! Ежели после моих слов он скажет, что в охоту, пускай его сдирает с них шкуру!

Камергер повернулся к слуге и спросил: намерен ли тот отвязать лошадей и отправиться с ними домой? Парень, стараясь смешаться с толпой, робко отвечал: надо-де сначала снять с коней бесчестье, а потом уж поручать ему уход за ними. Разъяренный камергер сзади набросился на него, сорвал с его головы шапку с гербом дома фон Тронка, растоптал ее, вытащил шпагу из ножен, принялся яростно колотить парня по спине эфесом и, наконец, прогнав с площади, крикнул вдогонку, что он уволен со службы. Мастер Химбольдт заорал:

— Бей кровопийцу, вали его наземь!

Народ, негодуя на камергера, мигом оттеснил стражников, Химбольдт же толчком в спину повалил его, сорвал с него плащ, воротник и шлем, вышиб у него из рук шпагу и могучим броском далеко ее зашвырнул. Юнкер Венцель, выбравшись из сумятицы, призывал рыцарей на помощь своему двоюродному брату. Но те не успели и шага ступить, как народ дружным натиском отбросил их назад, и камергер, разбивший себе голову при падении, остался во власти разъяренной толпы. От неминуемой гибели его спасло случайное появление отряда конных ландскнехтов, к которым начальник стражников воззвал о помощи. Когда последний, разогнав наконец толпу, приказал рейтарам схватить неистового мастера и отвести его в тюрьму, двое приятелей подбежали к злополучному камергеру, обливавшемуся кровью, и повели его домой. Таков был печальный исход честной и благородно задуманной попытки загладить несправедливость, причиненную конноторговцу. Деббельнский живодер, сделав свое дело, не пожелал больше оставаться в городе и, как только народ разбрелся по домам, привязал лошадей к фонарному столбу, где они и простояли весь день на потеху уличным мальчишкам и всякому сброду, некормленные и неухоженные. Поздно вечером полиции пришлось заняться ими и вызвать на место происшествия дрезденского живодера, чтобы он в ожидании дальнейших распоряжений свел их на пригородную живодерню.

Случившееся, как ни мало был в нем повинен лошадиный барышник Кольхаас, пробудило в людях, даже самых мирных и благодушных, чувства, весьма неблагоприятные для исхода его тяжбы. Отношения, возникшие между ним и государством, были единодушно признаны нетерпимыми, — в частных домах, равно как и в общественных местах, стали поговаривать, что лучше уж не по чести обойтись с ним и снова прекратить дело, нежели справедливо решить таковое и тем самым признать, что Кольхаас насилуем и грабежами добился удовлетворения неистовой своей строптивости. На беду горемыки Кольхааса, вышло так, что гротсканцлер из повышенной щепетильности и порожденной ею ненависти к дому фон Тронка невольно укрепил, более того — распространил подобные настроения. В высшей степени невероятным казалось, чтобы лошади, порученные заботам дрезденского живодера, когда-нибудь обрели тот вид, в котором их вывели из конюшни Кольхаасенбрюкке; но если даже благодаря умелому и долговременному уходу это бы и оказалось возможным, то позор, ввиду вышеупомянутых обстоятельств ложившийся на весь именитый и едва ли не знатнейший в Саксонии род фон Тронка, был так велик, что денежное возмещение за коней всем стало казаться наиболее приемлемым и

желательным выходом.

Посему, когда несколько дней спустя президент граф Кальхейм направил гроссканцлеру от имени больного камергера письмо с таким предложением, тот, в свою очередь, написал Кольхаасу, советуя не отказываться от возмещения стоимости вороных, буде ему это предложат, однако в кратких и не слишком любезных выражениях попросил президента впредь избавить его от частных поручений по означенному делу, камергеру же предложил лично снестись с Кольхаасом, какового аттестовал как человека скромного и справедливого. Что касается самого конноторговца, то его воля была сломлена последним происшествием на рыночной площади, и он, следуя совету гроссканцлера, дожидался только сообщения от юнкера или его родичей, готовый все простить и забыть. Но гордым рыцарям не пристало вступать в переговоры с барышником; уязвленные письмом гроссканцлера, они показали такое курфюрсту, приехавшему навестить больного камергера. Последний трогательно слабым голосом спросил: ужели во исполнение монаршей воли он, всю свою жизнь положив за то, чтобы это роковое дело приняло угодный курфюрсту оборот, должен теперь еще и свою честь выставить на посмешище всему свету, прося о мире и снисхождении человека, навлекшего неслыханный позор на него и весь его род? Курфюрст, прочитав письмо, смущенно спросил графа Кальхейма: не правомочен ли трибунал, считаясь с тем, что лошадей уже нельзя привести в прежний вид, объявить их более не существующими и приговорить юнкера фон Тронка к уплате денежного возмещения. Граф отвечал:

— Всемиловитейший государь, они и в самом деле *мертвы* с точки зрения государственного права, ибо более не имеют никакой цены и, кроме того, действительно околеют, прежде чем их успеют перевести с живодерни в рыцарские конюшни.

Выслушав его, курфюрст положил письмо в карман, обещал сам переговорить с гроссканцлером, успокоил камергера, который, приподнявшись с подушек, благодарно потянулся к его руке, еще раз посоветовал ему беречь свое здоровье, поднялся с кресла и, милостиво кивнув больному, удалился.

Так обстояли дела в Дрездене, когда над бедным Кольхаасом разразилась новая, еще более страшная гроза, надвинувшаяся из Лютцена. Коварным рыцарям все-таки удалось обрушить зловеший удар грома на его горемычную голову. Некий Иоганн Нагельшмидт, один из шайки конноторговца, распущенной им после амнистии, через некоторое время собрал остатки этого сброда, готового на любое преступление, и на границе

Богемии стал самочинно продолжать разбойное дело, некогда начатое Кольхаасом. Ничтожный малый, отчасти чтобы припугнуть своих преследователей, а также, чтобы побудить деревенских жителей — им это было бы не впервой — к участию в его проделках, именовал себя наместником Кольхааса. Понабравшись смекалки у бывшего своего атамана, он пустил слух, будто многие мирно воротившиеся в родные места, несмотря на амнистию, были брошены в тюрьму и что даже самого Кольхааса, тотчас же по его прибытии в Дрезден, вероломно взяли под стражу; более того, в грамотах, точь-в-точь похожих на Кольхаасовы, которые он приказывал развешивать по городам и весям, его разбойничья шайка объявлялась воинством, призванным во славу Божию защищать права, дарованные курфюрстовой амнистией. Делалось все это отнюдь не во славу Божию и не из приверженности к Кольхаасу, чья участь была им глубоко безразлична, просто под такой личиной удобнее было заниматься поджогами и грабежом. Когда весть о новой шайке достигла Дрездена, рыцари не могли скрыть своей радости, ибо это обстоятельство давало иной оборот всему делу. С многозначительной и недовольной миной толковали они о допущенном промахе, то есть о том, что вопреки их настойчивым и неоднократным предостережениям Кольхаасу было даровано помилование, как бы призывавшее злодеев всех мастей следовать его примеру. Мало того что они говорили, будто Нагельшмидт взялся за оружие, желая отстоять безопасность своего угнетенного атамана, они еще утверждали, что все это затея Кольхааса, имеющая целью запугать правительство и принудить суд без промедления вынести приговор, удовлетворяющий неистовое его своеволие. Кравчий же, господин Хинц, дошел до того, что в приемной курфюрста, где после обеда собралось несколько человек придворных и охотничих, стал доказывать, что Кольхаас и не думал распускать свою лютценскую шайку, что все это только хитроумный маневр; далее, насмехаясь над поборником справедливости — гротсканцлером и остроумно сопоставляя различные обстоятельства, он сделал вывод, что разбойники прячутся в лесах курфюршества, дабы по первому сигналу конноторговца снова ринуться огнем и мечом крушить все вокруг. Принц Кристиерн Мейссенский, опасаясь, как бы подобный оборот дела не запятнал славы его повелителя, немедленно отправился во дворец к курфюрсту; уразумев намерение рыцарей воспользоваться этим новым преступлением и окончательно добить Кольхааса, он испросил у курфюрста дозволения тотчас же учинить допрос последнему.

Стражник препроводил в ратушу несколько удивленного Кольхааса, державшего на руках меньших своих сыновей — Генриха и Леопольда.

Верный его Штернбальд только вчера привез всех пятерых детей из Мекленбурга, где они находились, и всевозможные горькие мысли — вдаваться в них здесь будет неуместно — заставили его взять с собой мальчиков, плакавших и умолявших не оставлять их одних. Принц ласково поглядел на детей, которых Кольхаас усадил подле себя, спросил, сколько им лет, как их зовут, и лишь затем сообщил Кольхаасу о разбойных деяниях Нагельшмидта, его бывшего сообщника, в долинах Рудных гор; показав ему так называемые «мандаты Нагельшмидта», он спросил, что может Кольхаас сказать в свое оправдание. Так как принц был честным и прямодушным человеком, то Кольхаасу, хотя ужас и объял его при виде сих позорных и предательских документов, удалось без особого труда опровергнуть огульно возведенный на него клевет. Однако убедили принца не только слова Кольхааса, что дело его складывается сейчас достаточно благоприятно и вряд ли он может испытывать нужду в помощи третьего лица, но прежде всего бумаги, оказавшиеся при нем, из коих выяснилось даже некое весьма примечательное обстоятельство, а именно, что Нагельшмидт ни за что не стал бы помогать Кольхаасу, ибо незадолго до роспуска лютценской шайки, изобличенный в изнасиловании и прочих преступлениях, он был приговорен последним к повешению; спасла его лишь амнистия, положившая конец власти Кольхааса; на следующий же день они разошлись заклятыми врагами. По предложению принца Кольхаас сел за стол и составил послание к Нагельшмидту, в котором объявлял утверждение последнего, будто бы он и его шайка поднялись на защиту нарушенной амнистии, позорной и наглой ложью, а также сообщал, что по прибытии в Дрезден не только не был взят под стражу, но, напротив, правое его дело движется самым желательным для него образом. Далее он предупреждал Нагельшмидта и весь сброд, того окружавший, что закон со всей строгостью покарает их за поджоги и убийства, совершенные в Рудных горах уже после опубликования амнистии. Для пущей острастки в этом послании приводились еще некоторые подробности суда, который он, конноторговец Кольхаас, вершил над ним в Лютцене, когда за постыдные преступления тот был приговорен к повешению и лишь вовремя подоспевший рескрипт курфюрста об амнистии сохранил ему жизнь. Прочитав это, принц успокоил Кольхааса насчет подозрения, которого вынужден был коснуться на этом допросе и при данных обстоятельствах, увы, неизбежного, заверил, что, покуда Кольхаас находится в Дрездене, амнистия, ему дарованная, никоим образом не будет нарушена, потом угостил детей фруктами из вазы, стоявшей на столе, попрощался и отпустил Кольхааса. Гроссканцлер, узнав об опасности, нависшей над

Кольхаасом, приложил немало усилий, чтобы ускорить окончание дела, покуда оно вконец не запуталось и не осложнилось, к чему как раз и стремились коварные политиканы, рыцари фон Тронка. Если прежде, молчаливо признавая свою вину, они добивались лишь смягчения приговора, то теперь с помощью всевозможных хитростей и крючкотворства пытались и вовсе эту вину отрицать. Они то твердили, что Кольхаасовы вороны были самоуправно задержаны в Тронкенбурге кастеляном и управителем, а юнкер-де ничего об этом не знал, разве только слышал краем уха, то уверяли, что лошади прибыли уже больные сильным и опасным кашлем, ссылались на свидетелей и брались немедленно доставить таковых, буде они понадобятся. Когда же эти аргументы после долгих расследований и разбирательств были опровергнуты, они откопали курфюрстов эдикт двенадцатилетней давности, в котором по случаю свирепствовавшего тогда мора и в самом деле запрещался ввоз лошадей из Бранденбурга в Саксонию, пытаясь доказать, что юнкер не только имел право, но обязан был задержать лошадей, пригнанных из-за границы.

Тем временем Кольхаас, уплатив славному амтману небольшую сумму в возмещение убытков, выкупил свою мызу в Кольхаасенбрюкке и решил, надо думать, для совершения необходимых формальностей, покинуть на несколько дней Дрезден и съездить в родную деревню. Мы, однако, допускаем, что упомянутое дело, несмотря на всю его срочность — Кольхаасу надо было еще распорядиться насчет сева озимых, — явилось лишь предлогом для того, чтобы проверить надежность своего положения при ныне существующих странных и сомнительных обстоятельствах. Возможно, здесь были и другие причины, догадываться о коих мы предоставляем читателю.

Итак, не взяв с собою приставленных к нему стражников, Кольхаас отправился к гроссканцлеру и, держа в руках письма амтмана, сказал, что намеревается на срок от десяти до двенадцати дней поехать в Бранденбургское курфюршество, если, конечно, за это время, а похоже, что так оно и будет, не потребуются его присутствие в суде. Гроссканцлер, с лицом задумчивым и недовольным, опустив глаза долу, ответил, что считает отъезд Кольхааса теперь более нежелательным, чем когда-либо, так как тот из-за козней и происков его врагов может в множестве неучтимых и непредвидимых случаев понадобится суду для новых показаний и разъяснений. Поскольку Кольхаас, сославшись на своего адвоката, хорошо осведомленного во всех подробностях дела, продолжал сдержанно, но решительно настаивать на своем отъезде, пусть не на двенадцать, а хотя бы на восемь дней, то гроссканцлер, подумав, наконец согласился и, отпуская

его, выразил надежду, что Кольхаасу удастся испросить у принца Мейссенского дозволения на выезд.

Кольхаас отлично понял выражение лица гроссканцлера и еще больше утвердился в своем намерении; он сел и, не сходя с места, написал просьбу принцу Мейссенскому о выдаче ему проездного свидетельства сроком на восемь дней для поездки в Кольхаасенбрюкке и обратно. В ответ на это прошение пришла резолюция, подписанная дворцовым комендантом, бароном Зигфридом фон Венк, следующего содержания: о просьбе Кольхааса он незамедлительно доложит его светлости курфюрсту и, как только воспоследует все милостивейшее дозволение, проездное свидетельство будет ему переслано. Спросив своего адвоката, как могло получиться, что на резолюции стоит подпись барона Зигфрида фон Венк, а не принца Кристиерна Мейссенского, к которому он адресовался, Кольхаас в ответ услышал, что принц три дня назад выехал в свои поместья, временно передав все дела по управлению дворцовому коменданту барону Зигфриду фон Венк, двоюродному брату упоминавшегося выше барона фон Венк.

Кольхаас, у которого начинало тревожно биться сердце при мысли об этом несчастном стечении обстоятельств, много дней ждал ответа на свое прошение, непонятно зачем представленное главе государства — курфюрсту. Прошла неделя, другая, а ответа из дворцового ведомства все не поступало, равно как и решения трибунала, обещанного ему в кратчайший срок. На двенадцатый день, исполнившись решимости узнать — будь что будет — намерения правительства по отношению к нему, он снова написал настойчивое представление о выдаче ему проездного свидетельства.

Но каково же было его изумление, когда вечером следующего дня, снова прошедшего без ответа из дворцового ведомства, Кольхаас, раздумывая о своем положении, и прежде всего об исхлопотанной ему доктором Лютером амнистии, подошел к окну, смотрящему во двор, и там во флигельке, отведенном для стражи, приставленной к нему принцем Мейссенским с первого же дня в Дрездене, таковой не обнаружил. Томас, его старый дворник, на вопрос, что это значит, со вздохом отвечал:

— Не по-хорошему все идет, хозяин; ландскнехтов сегодня больше, чем всегда, и, как стемнело, они сразу окружили дом: двое со щитами и копьями стоят у двери на улицу, двое у черной — в саду; а еще двое разлеглись в сених на соломе и говорят, что будут там спать всю ночь.

Кольхаас побелел и, отвернувшись от окна, сказал, что ему все равно, сколько их там, лишь бы были, и пусть Томас, проходя через сени, зажжет

свечу, чтобы не сидели впотьмах. Он открыл наружный ставень под предлогом выплеснуть воду из кружки и убедился, что старик сказал правду: в эту минуту во дворе бесшумно сменялся караул, а ведь с тех пор, как к нему была приставлена охрана, никто и не помышлял о таком церемониале. Кольхаас лег в постель, хотя сна у него ни в одном глазу не было, твердо решив, как ему поступить наутро. Ибо его до глубины души оскорбляло мнимое соблюдение законов правительством, которому он подчинялся, тогда как на самом деле амнистия, этим правительством дарованная, тут же оказалась нарушенной. Если он арестован, а в этом, увы, сомневаться не приходилось, то уж сумеет добиться от них непреложно точного объяснения.

Посему, едва забрезжило утро, Кольхаас велел верному своему Штернбальду заложить карету и сделал вид, будто собирается в Локкевиц, в гости к старому приятелю — управляющему, который, будучи проездом в Дрездене, звал его к себе вместе с детьми. Ландскнехты наострили уши — в доме происходит какое-то движение — и немедленно послали одного из своих в город: не прошло и часа, как прибыл отряд стражников, возглавляемый правительственным чиновником; все они с сугубо деловым видом вошли в дом насупротив. Кольхаас, одевавший сыновей, в свою очередь, заметил движение и суету и нарочно дольше, чем то было нужно, продержал карету у подъезда; вполне отдав себе отчет в происходящем, он вышел с детьми из дому, казалось, ничего не заметив, и, проходя мимо стоявших у дверей ландскнехтов, сказал, что не нуждается в их сопровождении, потом усадил сыновей, расцеловал и утешил плакавших девочек, которым велено было оставаться дома на попечении дворниковой дочери. Не успел он и сам сесть в карету, как чиновник со своими стражниками приблизился и спросил, куда он собрался. Услышав, что Кольхаас хочет ехать в Локкевиц к своему другу, несколько дней назад пригласившему его с обоими мальчиками к себе в деревню, чиновник поспешил сказать, что в таком случае ему придется подождать минутую-другую, так как согласно приказу принца Мейссенского его должны сопровождать конные ландскнехты. Кольхаас, продолжая сидеть в карете, с улыбкой спросил: неужто же ему может грозить опасность в доме друга, пригласившего его к себе? Чиновник поспешил отшутиться: опасность-де и впрямь невелика, но тут же добавил, что ведь сопровождающие ему ничем не помешают. Кольхаас уже вполне серьезно заметил, что принц Мейссенский с первого же дня предоставил на его усмотрение, пользоваться или не пользоваться стражей; тот, видимо, удивился и в деликатных выражениях дал понять, что стража приставлена к Кольхаасу

на все время его пребывания в Дрездене; тогда лошадиный барышник поведал ему о случае, послужившем тому причиной. Чиновник стал его уверять, что приказом барона фон Венк, сейчас исполняющего обязанности начальника полиции, на него возложена неуклонная охрана особы Кольхааса, и попросил того, ежели он отказывается от стражников, самому заявить об этом в управление полиции во избежание могущих произойти недоразумений. Кольхаас бросил на него красноречивый взгляд и, твердо решив дознаться, в чем тут дело, сказал, что исполнит его просьбу; с сильно бьющимся сердцем вылез из кареты, велел дворнику отнести детей в сени и, оставив экипаж и кучера дожидаться у подъезда, пошел, сопровождаемый чиновником и его стражниками, в управление полиции.

Случилось так, что в это время дворцовый комендант барон фон Венк вел допрос нескольких парней из банды Нагельшмидта, схваченных накануне вечером под Лейпцигом; когда в зале появился Кольхаас со своей свитой, рыцари, здесь присутствовавшие, выспрашивали у них те подробности, которые им важно было узнать. Барон, увидев Кольхааса, подошел к нему — рыцари немедленно смолкли — и спросил, что ему угодно. Конноторговец почтительно отвечал, что намеревается отобедать нынче у своего друга, управляющего в Локкевице, и просит разрешения не брать с собою стражу, поскольку она ему там не нужна, на что барон, изменившись в лице и, видимо, подавив совсем другие слова, готовые сорваться с языка, порекомендовал ему остаться дома, отказавшись от пирушки в Локкевице. Затем круто повернулся к чиновнику и строго заметил, что его приказ относительно этого человека не подлежит пересмотру и выехать из города ему можно не иначе как под охраной шестерых ландскнехтов верхами.

Кольхаас спросил: должен ли он считать себя арестованным и амнистия, торжественно дарованную ему перед лицом всего народа, нарушенной? Барон побагровел, вплотную к нему приблизился и, глядя ему прямо в глаза, крикнул: «Да! да! да!» — затем повернулся спиной и стал продолжать допрос Нагельшмидтовых парней. Кольхаас вышел вон, уже понимая, что единственным его спасением оставался побег, который он, конечно, очень затруднил себе, явившись к барону фон Венк, но тем не менее был доволен, что совершил этот шаг, освобождавший его от обязательства соблюдать отдельные пункты амнистии. Воротившись домой, он велел распрягать лошадей и в сопровождении чиновника, печальный и подавленный, прошел в свою комнату; и покуда тот, тоном глубоко отвратительным Кольхаасу, заверял его, что все это недоразумение, которое вскоре разъяснится, его подначальные заперли все выходы со двора; он же

продолжал твердить, что главные ворота оставлены открытыми и Кольхаас-де может входить и выходить, сколько ему угодно.

Между тем Нагельшмидт, в лесах Рудных гор со всех сторон теснимый отрядами ландскнехтов, убедившись, что без сторонней помощи не сможет дольше играть взятую на себя роль, решил и вправду втянуть в свою игру Кольхааса. От одного проезжего Нагельшмидт в подробностях узнал, как в Дрездене обстоит дело с тяжбой барышника, и подумал, что, несмотря на прежнюю открытую вражду между ними, ему теперь все же удастся склонить Кольхааса на свою сторону. Итак, он послал гонца с письмом, нацарапанным безграмотными каракулями, в котором писал: ежели Кольхаас прибудет в Альтенбург и снова станет атаманствовать над вольницей, что составила из отпущенных им людей, то он, Нагельшмидт, готов лошадьми, людьми и деньгами помочь ему бежать из-под стражи; и еще он клялся, что исправится и впредь будет исполнительнее и послушнее, в доказательство же своей нелицеприятной верности предлагал самолично явиться в Дрезден и освободить его из заточения.

На беду, с гонцом, везшим это письмо, в деревне под самым Дрезденом случился припадок падучей, коей он с детства был подвержен. Люди, поспешившие к нему на помощь, нашли у него за пазухой письмо, его же самого, как только он очнулся, взяли под стражу — за этой процессией бежала целая толпа народа — и препроводили в управление полиции. Прочитав злополучное письмо, дворцовый комендант фон Венк тотчас же отправился к курфюрсту, в приемной у которого застал господ Хинца и Кунца, уже вставшего с одра болезни, а также президента государственной канцелярии графа Кальхейма. Все эти господа держались мнения, что Кольхааса следует немедленно арестовать и судить за тайное соглашение с Нагельшмидтом. Они яростно доказывали, что подобное письмо не могло быть написано без предшествующих писем Кольхааса, иными словами, без преступного и нечестивого сговора касательно новых злодеяний и кровопролитий. Курфюрст упорствовал, не желая на основе Нагельшмидтова письма лишить конноторговца свободы, ему дарованной, и, напротив, считал, что из этого письма скорее можно заключить, что никакого предварительного сговора между Кольхаасом и Нагельшмидтом не существовало. Наконец, да и то весьма неохотно, он согласился, чтобы письмо было вручено Кольхаасу тем самым гонцом, якобы находящимся на свободе, и выждать, последует ли ответ на таковое. Сказано — сделано; на следующее утро парня прямо из тюрьмы привели в управление полиции, где дворцовый комендант отдал ему обратно письмо, велел как ни в чем не бывало вручить его Кольхаасу и сулил за это свободу и помилование.

Молодчик охотно пошел на подлое дело; напустив на себя мнимую таинственность, он пробрался в дом конноторговца под видом продавца раков, которыми его снабдил на рынке один из стражников. Кольхаас, читавший письмо, покуда дети его забавлялись раками, в другое время, несомненно, схватил бы мошенника за шиворот и передал ландскнехтам, стоявшим у подъезда. Но при нынешнем положении вещей даже такой шаг следовало обдумать и взвесить; Кольхаас понимал, что ему никак не выбраться из тенет, в которые он угодил, и потому, бросив печальный взгляд на знакомое ему лицо парня, спросил, где он остановился, и велел через несколько часов зайти за ответом. Штернбальду, случайно зашедшему в комнату, он приказал купить у пришельца раков. Когда тот расплатился за покупку и оба вышли, не узнав друг друга, Кольхаас сел и написал Нагельшмидту письмо следующего содержания: что он, во-первых, принимает предложение возглавить вольницу под Альтенбургом; что посему для освобождения его из-под домашнего ареста вместе со всеми его детьми просит выслать запряженный парю экипаж в Нейштадт под Дрезденом; что для скорейшего следования ему потребна парная же подстава на дороге в Виттенберг, ибо только таким окольным путем, по причинам, излагать кои ему сейчас недосуг, он может проехать к Нагельшмидту; что ландскнехтов, которые его караулят, он надеется подкупить, на случай же, если понадобится применить силу, пусть ему пришлют в Нейштадт под Дрезденом несколько преданных, сметливых и хорошо вооруженных парней; что для покрытия расходов, связанных с этим предприятием, он пересылает через его гонца кошелек с двадцатью золотыми кронами, счета же они сведут, когда дело будет сделано; что он запрещает ему, Нагельшмидту, приезжать в Дрезден для его освобождения, более того, приказывает оставаться в Альтенбурге, до поры до времени возглавляя вольницу, которая ни в коем случае не должна оставаться без атамана. Ответ этот он передал Нагельшмидтову парню, явившемуся за ним, когда стемнело, и щедро его одарил, заклиная беречь письмо как зеницу ока. На самом деле Кольхаас со своими пятью детьми намеревался ехать в Гамбург и оттуда уплыть в Левант^[23], или в Ост-Индию, или еще куда-нибудь, где небо синее над совсем другими людьми, ибо скорбной душе его теперь равно претила мысль о принудительном откорме вороных и о сообщничестве с Нагельшмидтом.

Не успел парень доставить письмо дворцовому коменданту, как гротсканцлер был смещен, а граф Кальхейм назначен на его место — председателем трибунала, Кольхаас же приказом кабинета министров взят под стражу, закован в тяжелые цепи и заточен в тюремную башню. На

основании письма к Нагельшмидту, вывешенного на всех углах, против него был начат процесс; и так как на вопрос судьи, его ли почерком написано это письмо, он отвечал: «Да!» — а на вопрос, есть ли у него что сказать в свое оправдание: «Нет!» — и опустил глаза долу, то его приговорили к казни раскаленными щипцами и четвертованию; тело его должно было быть предано сожжению между колесом и виселицей.

Так обстояло дело со злосчастливым Кольхаасом, когда курфюрст Бранденбургский взялся спасти его от насилия и произвола и в ноте, отправленной непосредственно в государственную канцелярию Саксонии, объявлял его бранденбургским подданным. Дело в том, что бравый господин Генрих фон Гейзау на прогулке вдоль берега Шпрее рассказал ему историю этого странного, но отнюдь не испорченного человека и, теснимый вопросами, которыми его засыпал изумленный курфюрст, вынужден был сообщить о непорядочном поведении эрцканцлера графа Зигфрида фон Кальхейм, которое, увы, бросало тень и на его августейшую особу. Возмущенный курфюрст немедленно призвал к себе эрцканцлера, допросил его и, выяснив, что виною всему было родство последнего с домом фон Тронка, весьма немилостиво с ним обошелся, удалил с поста и назначил эрцканцлером господина Генриха фон Гейзау.

Надо сказать, что о ту пору польский королевский дом, пребывавший во вражде — по какой причине, нам неизвестно, — с Саксонским домом, неоднократно и настойчиво обращался к Бранденбургскому курфюрсту с предложением союза против Саксонии, так что эрцканцлер, господин Гейзау, достаточно опытный в подобного рода делах, мог надеяться, что ему удастся исполнить желание своего повелителя во что бы то ни стало добиться справедливости для Кольхааса, при этом, во имя блага отдельного человека, не поставив на карту всеобщего спокойствия.

Итак, эрцканцлер потребовал безоговорочной и безотлагательной выдачи Кольхааса ввиду богопротивного и бесчеловечного произвола, чинимого над ним, с тем чтобы, коль скоро он и вправду виновен, его судили по бранденбургским законам, на основании обвинительного заключения, кое дрезденский двор через своего поверенного волен представить в берлинский суд. Более того, он уже заготовил проездное свидетельство для адвоката на случай, если курфюрсту Бранденбургскому угодно будет послать своего юриста в Дрезден с целью добиться справедливого решения по делу о воронях, отнятых у Кольхааса в Саксонской земле, а также о других вопиющих притеснениях и насилиях, учиненных юнкером Венцелем фон Тронка. Камергер, господин Кунц, при смене государственного аппарата в Саксонии назначенный на пост

президента государственной канцелярии и находившийся в весьма затруднительном положении, по различным причинам не желая портить отношения с берлинским двором, отвечал от имени своего повелителя, глубоко огорченного полученной нотой, что нельзя-де не удивляться недружелюбию и несправедливости бранденбургского правительства, отрицающего право дрезденского двора судить Кольхааса по законам страны, в коей им совершены преступления, тогда как всему миру известно, что он владеет изрядным земельным участком в Дрездене, да и сам считает себя подданным курфюрста Саксонского. Но так как для подтверждения своих претензий королевство Польское сосредоточило на границе Саксонии пятитысячное войско, а эрцканцлер, господин фон Гейзау, заявил, что Кольхаасенбрюкке, место, по имени которого прозывается барышник, находится в Бранденбургском курфюршестве и исполнение смертного приговора над этим человеком будет рассматриваться как нарушение международного права, то курфюрст, по совету своего камергера, господина Кунца, желавшего выпутаться из этого дела, призвал обратно отъехавшего было в свои поместья принца Кристиерна Мейссенского и, выслушав сего благоразумного человека, решил удовлетворить требование о выдаче Кольхааса берлинскому двору.

Принц, несмотря на то что был недоволен многими злостворствами, имевшими место в Кольхаасовом деле, по просьбе своего растерявшегося повелителя вынужден был взять на себя надзор за таковым и спросил, как же, собственно, будет обосновано обвинение Кольхааса в берлинском верховном суде — ведь на злополучное письмо к Нагельшмидту ссылаться нельзя из-за двусмысленных и темных обстоятельств, предшествовавших его написанию, так же как нельзя ссылаться на грабежи и поджоги, ибо они были прощены Кольхаасу в обнародованной амнистии. Выслушав его, курфюрст положил послать его величеству императору в Вену донесение о вооруженном набеге Кольхааса на Саксонию, о нарушении его шайкой имперского мира и ходатайствовать перед его величеством, разумеется не связанным никакой амнистией, о предании Кольхааса суду в Берлине с участием в процессе имперского обвинителя. Восемь дней спустя в Дрезден прибыл посланный курфюрста Бранденбургского рыцарь Фридрих фон Мальцан с шестью рейтарами и, посадив в возок закованного в цепи Кольхааса с пятерыми детьми, которых по его просьбе доставили из сиротского приюта, повез его в Берлин. В это самое время в Дааме на оленью охоту, устроенную в его честь ландратом^[24], графом Алоизиусом фон Кальхейм, владевшим крупными поместьями на границе Саксонии, прибыл курфюрст Саксонский, сопровождаемый камергером, господином

Кунцем, и его супругой, госпожой Элоизой, дочерью ландрата и сестрой президента, а также целой плеядой блестящих дам и кавалеров, не считая охотничих и придворных. Когда вся эта компания, вернувшись с охоты и еще не смыв дорожной пыли, расселась за столами в шатрах с развевающимися вымпелами, раскинутых по косогору, и из-за старого дуба слышалась музыка, а пажи и юные дворяне принялись разносить яства, на дороге показался неторопливый возок, в котором ехал из Дрездена Кольхаас, сопровождаемый шестью рейтарами. Опоздание было вызвано тем, что в пути заболел один из младших хрупких детей конноторговца и рыцарь фон Мальцан оказался вынужденным на три дня остановиться в Герцберге; однако дрезденское правительство он об этом в известность не поставил, считая себя ответственным единственно перед властителем, которому он служил, то есть перед курфюрстом Бранденбургским. Курфюрст Саксонский в шляпе с перьями, по охотничьему обычаю еще украшенной еловыми ветками, и в распахнутом на груди камзоле, сидел рядом с госпожой Элоизой, которая в дни юности была его первой любовью, и, наслаждаясь прелестью пира, шумевшего вокруг, неожиданно проговорил:

— Пойдемте и поднесем несчастному, кто бы он ни был, кубок вина!

Госпожа Элоиза, прельстительно взглянув на него, тотчас же встала и, взяв из рук пажа серебряный поднос, принялась накладывать на него плоды, хлеб и сласти. Большинство присутствующих со сладостями и освежающими напитками в руках уже толпою покидали шатер, когда навстречу им попался сконфуженный ландрат, попросивший всех остаться на месте. На удивленный вопрос курфюрста, что случилось и чем он так встревожен, ландрат, глядя на камергера, пробормотал, что в возке сидит Кольхаас. Вместо ответа на сие непостижимое сообщение, ибо всем было известно, что конноторговца увезли уже шесть дней назад, камергер, господин Кунц, схватил свой кубок и, встав спиной к шатру, выплеснул вино в песок. Курфюрст, красный до корней волос, опустил свой кубок на тарелку, по знаку камергера торопливо подставленную пажом. В то время как рыцарь фон Мальцан, почтительно раскланиваясь с избранным и незнакомым ему обществом, медленно проезжал меж шатров, господа по приглашению ландрата стали снова рассаживаться по своим местам, более не обращая внимания на происходящее. Как только курфюрст последовал их примеру, ландрат тайком отправил гонца в Дааме, прося магистрат обеспечить безостановочное следование Кольхааса; однако рыцарь фон Мальцан решил заночевать, так как час был уже поздний, и магистрату волей-неволей пришлось разместить всех на мызе, одиноко расположенной

в лесу. Между тем гости ландрата, сытно поужинав и вдоволь отведав доброго вина, уже успели позабыть о встрече с Кольхаасом, когда хозяину пришло на ум еще раз попытаться догнать стаю оленей, промелькнувшую в лесу. Его предложение было принято с радостью, и вся компания, схватив ружья, попарно пустилась через холмы и овраги в самую чащобу. Курфюрста же с госпожой Элоизой, повиснувшей у него на руке — ей тоже хотелось насладиться редким зрелищем, — охотничий, приставленный к ним, провел, к вящему их удивлению, через двор дома, в котором ночевал Кольхаас с бранденбургскими рейтарами. Услышав об этом, госпожа Элоиза воскликнула:

— Идемте, государь, идемте скорей! — и шаловливым движением запрягла цепь, висевшую у него на груди, под борта его шелкового камзола. — Покуда вся компания не догнала нас, давайте проберемся в дом и посмотрим на этого удивительного человека!

Курфюрст покраснел и, схватив ее руку, воскликнул:

— Что за вздор, Элоиза!

Но она, потихоньку увлекая его за собой, стала уверять, что в этом костюме его все равно нельзя узнать. В эту самую минуту навстречу им из дому вышли двое охотничих, уже успевших удовлетворить свое любопытство; они заверили курфюрста и его даму, что благодаря мерам предосторожности, принятым ландратом, ни рыцарь, ни конноторговец не догадываются о том, какое общество собралось в окрестностях Дааме; курфюрст улыбнулся, надвинул шляпу на глаза и, сказав: «Глупость, ты правишь миром, а прибежище твое — женские уста!» — последовал за госпожой Элоизой.

Когда они вошли, Кольхаас сидел у стены на мешке с соломой и кормил молоком с хлебом своего ребенка, занедужившего в Герцберге. Желая завязать разговор, госпожа Элоиза спросила, кто он, что с ребенком, а также в чем он преступил закон и куда его везут под таким конвоем. Кольхаас снял с головы свою кожаную шапку и, продолжая кормить дитя, немногословно, но с толком ответил на ее вопросы. Курфюрст, прятавшийся за спинами охотничих, вдруг заметил на шее Кольхааса маленький железный медальон и, так как ничего больше ему на ум не пришло, спросил, что это такое и что в нем спрятано.

— Ваша милость, — Кольхаас через голову снял медальон и вынул из него маленькую запечатанную записочку, — странная произошла история с этим медальоном! После похорон моей жены, тому уже минуло семь месяцев, я, как вам, возможно, известно, покинул Кольхаасенбрюкке, чтобы захватить в плен юнкера фон Тронка, нанесшего мне столь жестокую

обиду, когда в Ютербоке, торговом городишке, через который пролегал мой путь, происходила встреча, уж не знаю по какому случаю, курфюрста Саксонского с курфюрстом Бранденбургским; вечером они оба решили прогуляться по городу, наверно захотели посмотреть на шумную ярмарку. Вдруг видят — сидит на скамеечке цыганка и по месяцеслову ворожит обступившей ее толпе; они возьми да и спроси, не предскажет ли она им чего-нибудь приятного. Я тогда вместе со своим отрядом заехал на постоянный двор и ненароком оказался на площади, где все это происходило, правда, с моего места на паперти мне не слышать было, что говорила господам чудная эта цыганка, я только слышал, что в толпе посмеивались и перешептывались: она-де не каждому открывает, что ей известно; толкотня стояла отчаянная, каждому хотелось поближе посмотреть, чем все это обернется, меня не особенно разбирало любопытство, скорее я хотел пропустить вперед любопытных и потому влез на каменную скамью у церковных дверей. Оттуда мне как на ладони видны были оба курфюрста и цыганка, что сидела перед ними и старательно выводила какие-то каракули; вдруг она подымается, опершись на свои костыли, и оглядывает толпу, словно ищет кого-то, потом ее взгляд останавливается на мне, хотя я ее знать не знал и отродясь гаданием не интересовался, она проталкивается сквозь толпу и говорит мне: «На, держи, если господин пожелает что узнать, пусть спрашивает тебя!» С этими словами, ваша милость, она протянула мне своими костлявыми пальцами вот эту записку. Я смешался — ведь весь народ на меня смотрит — и говорю: «Матушка, чем это ты меня почтила?» Она что-то невнятное забормотала, но я, к великому своему удивлению, разобрал в этом бормотанье свое имя и слова: «Амулет, Кольхаас, лошадиный барышник, спрячь его хорошенько, в свое время он спасет тебе жизнь!» И — как сквозь землю провалилась. Что ж, — добродушно продолжал Кольхаас, — по правде говоря, как ни круто мне пришлось в Дрездене, а все же жизнью я не поплатился; а каково мне будет в Берлине и суждено ли мне там остаться в живых — покажет время.

При этих словах Кольхааса курфюрст опустился на скамью и хоть и ответил на встревоженный вопрос своей дамы: «Ничего, пустое», но упал без сознания, прежде чем она успела подбежать и подхватить его. Рыцарь фон Мальцан, зачем-то вошедший в комнату, воскликнул:

— Бог ты мой, что с этим господином?

Госпожа Элоиза закричала:

— Воды, скорей воды! — Охотничие подняли курфюрста и отнесли на кровать в соседнюю комнату. Всеобщее смятение достигло высшей точки,

когда камергер, за которым послали пажа, после долгих и тщетных попыток вернуть к жизни своего господина объявил, что по всем признакам это удар. Кравчий послал верхового в Луккау за врачом, но ландрат, как только курфюрст на мгновение открыл глаза, приказал перенести больного в экипаж, чтобы медленно, шаг за шагом, доставить его в свой охотничий дворец, расположенный неподалеку. Утомленный дорогой курфюрст уже по прибытии на место дважды впадал в бессознательное состояние и почувствовал себя несколько лучше лишь на следующее утро, когда наконец явился врач из Луккау, обнаруживший у него нервную горячку.

Едва сознание вернулось к нему, он приподнялся на подушках, спрашивая: «Где Кольхаас?» Камергер, не разобрав вопроса, схватил его руку и стал умолять не тревожить себя думами о страшном человеке, который остался на лесной мызе возле Дааме под бдительной охраной бранденбургских рейтаров. Далее, заверив курфюрста в искреннем своем участии и вскользь заметив, что он высказал жене крайнее свое неудовольствие ее безответственным и легкомысленным поведением — надо же было свести его с этим человеком, — спросил, что ж было такого удивительного и ужасного в разговоре с Кольхаасом, если этот разговор довел его до болезни. Курфюрст сказал: он должен признаться, что всему виною маленькая записочка, которую этот человек носит на шее в железном медальоне. Силясь объяснить, в чем тут дело, он наговорил много непонятного, потом вдруг стал уверять, сжимая в своих руках руку камергера, что нет для него ничего важнее обладания этой запиской, прося его немедленно отправиться в Дааме и за любую цену выкупить ее у Кольхааса. Камергер, с трудом скрывая свое смущение, пробормотал, что поскольку злополучная записка столь важна для курфюрста, то прежде всего необходимо скрыть это обстоятельство от Кольхааса, иначе всех сокровищ Саксонии не хватит на то, чтобы выкупить ее из рук злодея, ненасытного в своей жажде мести. Чтобы несколько успокоить курфюрста, он добавил еще, что здесь, пожалуй, надо будет привлечь третье, незаинтересованное, лицо и с его помощью выманить записку, для Кольхааса, вероятно, особой ценности не представляющую и столь бесценную для курфюрста.

Курфюрст, утирая пот, спросил, нельзя ли тотчас же послать кого-нибудь в Дааме и задержать там конноторговца, покуда у него ценою любых ухищрений не будет отнят этот клочок бумаги. Камергер, не веря своим ушам, отвечал, что Кольхаас, надо думать, уже находится по ту сторону границы, на Бранденбургской земле, так что всякая попытка задержать его на пути следования или вернуть обратно может возыметь

неприятнейшие, далеко идущие последствия, с которыми вовек не распутаясь. И когда курфюрст с выражением отчаяния и безнадежности на лице откинулся на подушки, спросил еще, что же такое стоит в этой записке и каким таинственным, необъяснимым образом ему стало известно, что речь в ней идет именно о нем. На это, однако, курфюрст, смерив недоверчивым взглядом своего камергера, ни слова не ответил; недвижимый, с тревожно бьющимся сердцем лежал он, не сводя глаз с кончика носового платка, который задумчиво мял в руках, и вдруг попросил позвать к нему охотничего фон Штейн, статного и ловкого юношу, нередко ему услужавшего во всевозможных секретных делах. Посвятив его во всю эту историю и в то, как важна ему записка, находящаяся у Кольхааса, курфюрст спросил юношу, хочет ли тот приобрести вечное право на его дружбу, добыв для него записку прежде, нежели Кольхаас доберется до Берлина. И так как охотничий, несмотря на странность поручения, до известной степени смекнул, в чем тут дело, и заверил своего господина, что готов на все для него, то курфюрст приказал ему скакать вслед за Кольхаасом и, поскольку того вряд ли можно соблазнить деньгами, в хитроумной беседе пообещать ему свободу и жизнь за эту записку, и даже, если он будет на том настаивать, исподтишка помочь ему лошадьми, людьми и деньгами для побега от конвоирующих его бранденбургских рейтаров. Охотничий, запасшись письменным подтверждением этих слов и прихватив с собою нескольких слуг, ринулся в погоню за Кольхаасом, и так как они, не щадя коней, скакали во весь опор, то им удалось настигнуть его в пограничной деревушке, где он обедал вместе с рыцарем фон Мальцан и всеми своими детьми под открытым небом у дверей отведенного ему домика. Рыцарь, которому фон Штейн выдал себя за проезжего, желающего поглядеть на удивительного человека — Кольхааса, познакомил его с последним и, любезно усадив за стол, предложил разделить с ними трапезу. И так как Мальцан, хлопоча о дальнейшем следовании, то и дело отлучался, рейтары же обедали за столом по другую сторону дома, фон Штейн быстро представилась возможность открыть Кольхаасу, кто он таков и за каким делом сюда явился. Конноторговец, давно знавший имя и сан человека, лишившегося чувств при виде железного медальона там, на мызе, мог бы достойно довершить удар, уже подкосивший курфюрста, открыв ему тайну записки; но он не пожелал ее распечатать из пустого любопытства, ибо твердо решил оставить ее при себе, памятуя о низком, некняжеском обращении, которому подвергся в Дрездене, несмотря на полную свою готовность пойти на любые жертвы. На вопрос, что побуждает его к столь странному

упорству, ведь ему взамен как-никак предлагают жизнь и свободу, Кольхаас отвечал:

— Высокородный господин, если бы ваш государь и повелитель явился сюда и сказал: «Я уничтожу себя заодно со всей кликой, помогающей мне управлять страной», а вы, надо думать, понимаете, это значило бы, что сбылась заветнейшая моя мечта, я бы и то не отдал записки, которая ему дороже жизни, а сказал бы: «Ты можешь послать меня на эшафот, но я могу причинить тебе боль и сделаю это». — Без страха глядя в лицо неминуемой смерти, он подозвал одного из рейтаров под предлогом отдать ему миску с недоеденным вкусным кушаньем, во все время, проведенное им здесь, более не замечал охотничьего, и только уже садясь в повозку, подарил его прощальным взглядом.

Здоровье курфюрста, подвергшееся стольким испытаниям, после получения рокового известия настолько ухудшилось, что врач много дней опасался за его жизнь. И все же благодаря природному здоровью после долгих недель болезни он поправился хотя бы настолько, что, обложенного подушками и укутанного в одеяла, его можно было отвезти в Дрезден, где его ждали неотложные дела. Прибыв в свою резиденцию, он немедленно послал за принцем Мейссенским и спросил, что слышно относительно отправки в Вену советника суда Эйбенмайера, который должен был представить его императорскому величеству жалобу на нарушение Кольхаасом имперского мира. Принц отвечал, что согласно приказу курфюрста, отданному перед отъездом в Дааме, последний уехал в Вену тотчас же по прибытии в Дрезден ученого юриста Цойнера, присланного курфюрстом Бранденбургским для подачи в суд жалобы на юнкера Венцеля фон Тронка, задержавшего вороных Кольхааса. Курфюрст покраснел и отошел к своему письменному столу, удивляясь такой поспешности, ему помнилось, что он приказал, ввиду необходимости предварительно переговорить с доктором Лютером, исхлопотавшим Кольхаасу амнистию, задержать отъезд Эйбенмайера до особого распоряжения. Сияясь обуздать свой гнев, он перекидал все лежавшие на столе письма и деловые бумаги.

После недолгого молчания принц, удивленно посмотрев на своего повелителя, выразил сожаление, что навлек на себя его неудовольствие, и предложил показать постановление государственного совета, вменившего ему в обязанность в назначенный срок отправить в Вену советника суда. К этому он добавил, что в государственном совете и речи не было о переговорах с доктором Лютером, что в свое время, возможно, было бы весьма целесообразно посоветоваться с этим высоким духовным лицом, ходатайствовавшим за Кольхааса, но не теперь, когда амнистия нарушена

на глазах у всего света, когда Кольхаас вновь взят под стражу и выдан бранденбургским властям на суд и расправу. Курфюрст заметил, что в преждевременной отсылке Эйбенмайера он большой беды не видит; надо только, чтобы тот до дальнейших распоряжений не выступал в качестве обвинителя, и предложил принцу немедленно отправить к нему курьера с соответствующим предупреждением. Принц отвечал, что приказ курфюрста, увы, опоздал на один день, ибо по сведениям, сегодня им полученным, Эйбенмайер в качестве обвинителя уже подал жалобу в имперскую канцелярию. На вопрос опешившего курфюрста, как это все так быстро сделалось, принц отвечал, что со времени отъезда Эйбенмайера прошло уже три недели, а согласно инструкции он обязан был безотлагательно выполнить дело, ему порученное. Любое промедление, добавил принц, было бы в этом случае неподобающим, так как бранденбургский юрист Цойнер настойчиво ходатайствовал перед судом о предварительном изъятии вороных у живодера на предмет их откорма и добился своего, несмотря на возражения противной стороны.

Курфюрст, потянув сонетку, заметил, что ладно, мол, не так все это важно! Задал принцу несколько безразличных вопросов: что слышно в Дрездене? Не случилось ли чего за время его отсутствия? И, не в силах более скрыть свое душевное смятение, кивнул в знак того, что аудиенция окончена. В тот же день под предлогом, что он должен самолично заняться делом столь большой государственной важности, курфюрст письменно затребовал от принца все документы, касающиеся Кольхаасова процесса, ибо мысль сгубить единственного человека, владеющего тайной записки, была ему непереносима. Более того, он собственноручно написал письмо императору^[25], настойчиво и доверительно прося его, по очень важным причинам, кои он надеется изложить в ближайшее время, позволить Эйбенмайеру взять обратно поданную им жалобу.

Император ответил ему нотой, составленной в государственной канцелярии: что перемена, видимо совершившаяся в убеждениях курфюрста, его по меньшей мере удивляет; что доклад, поступивший к нему из Саксонии, придавал делу Кольхааса значение, немаловажное для всей Священной Римской империи, и он, император, как глава государства, счел своим долгом выступить в этом деле в качестве обвинителя перед бранденбургским двором; поскольку гоф-ассессор Франц Мюллер, коего он назначил прокурором, уже выехал в Берлин, дабы призвать к судебной ответственности Кольхааса как нарушителя имперского мира, то жалоба, разумеется, не может быть взята обратно и судебному делу будет дан дальнейший ход в точном соответствии с законом.

Сия нота повергла курфюрста в отчаяние, вдобавок еще приумноженное частным письмом из Берлина, в котором ему сообщали, что в суде уже объявлено слушание дела Кольхааса и что оно, несмотря на все усилия адвоката, вероятно, закончится на эшафоте. Тогда этот несчастнейший из властителей решил сделать еще одну попытку и собственноручно написал курфюрсту Бранденбургскому, прося его за Кольхааса. Свое письмо он оправдывал тем, что-де, согласно букве закона, амнистия, дарованная этому человеку, не допускает совершения над ним смертной казни, далее он заверял своего собрата, что, несмотря на напускную суровость, никогда и в мыслях не имел предать Кольхааса смерти, и присовокупил, что будет безутешен, если покровительство, которое тому посулили в Берлине, вдруг обернется бедою и окажется, что было бы лучше, если бы его судили в Дрездене по саксонским законам.

Курфюрст Бранденбургский, которому многое в этом письме показалось темным и двусмысленным, отвечал, что решительность, с каковою действует прокурор его императорского величества, никак не позволяет ему исполнить желание своего собрата и попытаться обойти закон. Тревога же курфюрста Саксонского, по его мнению, излишня, ибо амнистия нарушена не им, ее даровавшим, но главою империи, для которого решение берлинского верховного суда отнюдь не обязательно. Далее он писал, что примерное наказание Кольхааса необходимо для устрашения Нагельнмидта, чьи набеги, становясь все более и более дерзкими, перекинулись уже в бранденбургские владения, и просил курфюрста, буде он не пожелает принять во внимание его доводы, обратиться непосредственно к императору, так как, кроме него, никто не волен над жизнью и смертью Кольхааса.

Курфюрст с досады и огорчения из-за того, что все его попытки ни к чему не привели, снова заболел. И вот однажды утром, когда камергер пришел его проведать, он показал ему письма, написанные в надежде продлить жизнь Кольхааса и, таким образом, выгадать время для овладения запиской. Камергер упал перед ним на колени, заклиная во имя всего святого сказать, что же такое в этой записке. Курфюрст приказал ему запереть дверь и сесть к нему на кровать; схватив руку камергера, он прижал ее к своей груди и начал говорить:

— Твоя жена, как я слышал, уже рассказала тебе, что на третий день после моего приезда в Ютербок для встречи с курфюрстом Бранденбургским мы с ним, гуляя, натолкнулись на одну цыганку. Курфюрст, по характеру живой и бойкий, решил при всем честном народе разоблачить эту женщину, об искусстве которой, кстати сказать, в тот

самый день шел достаточно фривольный разговор за обедом; итак, заложив руки за спину, он подошел к столику цыганки и задорно предложил предсказать ему что-нибудь такое, что сегодня же сбудется, а иначе, будь она хоть римской Сивиллой^[26], все равно он ее словам не поверит. Цыганка, окинув нас беглым взглядом, отвечала, что прежде, чем мы оба уйдем с рыночной площади, нам встретится дикий козел с большими рогами, тот, которого выпестовал в парке сын садовника. Надо тебе знать, что козел, предназначенный для дворцовой кухни, содержался под замком в высокой загородке, скрытой могучими дубами парка, не говоря уж о том, что весь парк и прилегавший к нему сад, изобиловавшие разной мелкой дичью, находились под строгой охраной, так что невозможно было себе представить, как, во исполнение странного пророчества, этот козел мог бы попасть на рыночную площадь. Курфюрст Бранденбургский, полагая, что за всем этим кроется какое-то мошенничество, и твердо решивший изобличить во лжи цыганку, что бы она еще ни говорила, перекинувшись со мной двумя-тремя словами, послал во дворец скорохода с приказом немедленно заколоть козла и в один из ближайших дней подать его к нашему столу. Засим обернулся к цыганке, слышавшей наш разговор, и сказал: «Итак, какое же будущее ты мне предскажешь?»

Цыганка, разглядывая его руку, говорила: «Слава моему курфюрсту и повелителю! Твоя милость долго будет править, и долго будет властвовать дом, из коего ты приходишь, и потомки твои будут жить во славе и великолепии и станут могущественнее всех царей земных!»^[27]

Курфюрст молча и задумчиво смотрел на ворожею, затем, шагнув ко мне, вполголоса сказал, что сожалеет, зачем он послал гонца во дворец, дабы помешать исполнению пророчества. И покуда монеты из рук сопровождавших его рыцарей дождем сыпались на колени цыганки, сам он, швырнув ей золотой, спросил, будет ли так же звенеть серебром предсказание, которое она сделает мне.

Ворожея, отперев ящик, стоявший подле нее, обстоятельно и неторопливо уложила в него монеты, кучками по достоинству, снова его заперла и, ладонью прикрыв глаза от солнца, словно свет его был ей непереносим, взглянула на меня. Я задал ей тот же самый вопрос и, покуда она изучала мою руку, шутливо сказал, оборотясь к курфюрсту: «Мне, видимо, она уж ничего столь приятного не возвестит». Услышав это, старуха схватила костыли, медленно поднялась со скамейки, как-то загадочно простерла руки и, приблизившись ко мне, отчетливо прошептала: «Нет!» — «Вот как, — в смущении пробормотал я и отшатнулся от

ворожеи, которая, глядя на меня безжизненным, холодным взором своих словно окаменелых глаз, вновь опустилась на скамеечку, — откуда же грозит моему дому опасность?» Цыганка, взяв в руки уголек и бумагу, спросила, должна ли она написать свое прорицание, и я, смутившись, отвечал, мне ведь ничего другого не оставалось: «Да, напиши!» — «Хорошо, — отвечала она, — три тайны я открою тебе: имя последнего правителя из твоего дома, год, когда он лишится престола, и имя того, кто с оружием в руках твоим царством завладеет»^[28]. Сделав это на глазах у всего народа, она скрепила записку сургучом, увлажнив его своими увядшими губами, и припечатала железным перстнем, надетым на средний палец. Я, как ты сам понимаешь, сгорая от любопытства, потянулся за запиской, но она меня остановила словами: «Нет, нет, ваше высочество!» — и указала куда-то своим костылем: «Вон у того человека в шляпе с перьями, что стоит позади всего народа на скамейке у церковных дверей, выручишь ты эту записку, коли она тебе понадобится».



И прежде, чем я успел понять, что она сказала, она взвалила на спину свой ящик и смешалась с толпой, нас обступившей, я же, онемев от удивления, остался стоять на месте. Тут, к вящей моей радости, подходит рыцарь, которого курфюрст посылал во дворец, и, смеясь, докладывает, что козел уже зарезан и он сам видел, как двое егерей тащили его на кухню. Курфюрст берет меня под руку, чтобы увести с площади, и весело говорит: «Так я и знал, эти прорицания — обыкновенное мошенничество, не стоящее времени и денег, на них потраченных».

Но каково же было наше изумление, когда — он еще и договорить не

успел — площадь зашумела и все взоры устремились на огромного меделянского пса; он мчался от дворцовых ворот, волоча за загривок тушу того самого козла, и в трех шагах от нас, преследуемый челядью, выронил свою добычу. Так сбылось пророчество цыганки, предназначенное служить залогом всего ею сказанного, и дикий козел, пусть мертвый, встретился нам на рыночной площади. Молния, грянувшая с небес в морозный зимний день, не поразила бы меня сильнее, чем то, что сейчас случилось, и первым моим порывом, как только мне удалось уйти от всех меня окружавших, было разыскать человека в шляпе с перьями, на которого указала цыганка. Но никто из посланных мною на розыски, продолжавшиеся целых три дня, так и не напал на его след. И вот, друг мой Кунц, несколько недель назад я собственными глазами увидел этого человека на мызе в Даае.

С этими словами он выпустил руку камергера, вытер пот со лба и снова в бессилии опустился на подушки. Тот же, считая, что высказывать свою точку зрения на сей странный случай не стоит, курфюрст все равно будет стоять на своем, предложил изыскать какой-нибудь способ овладеть запиской, а в дальнейшем предоставить Кольхааса его собственной судьбе. Курфюрст решительно сказал, что такого способа не существует и что мысль не увидеть более роковой записки, мысль дать страшной тайне погибнуть вместе с этим человеком повергает его в ужас и отчаяние. На вопрос друга, не сделал ли он попытки выяснить, кто эта цыганка, курфюрст отвечал, что под выдуманном предлогом приказал ее разыскивать по всему курфюршеству, но след ее и по сей день нигде не обнаружился; при этом он добавил, что в силу некоторых обстоятельств — пояснить свои слова он отказался — цыганку вряд ли можно еще отыскать в Саксонии.

Как раз в это время камергер собирался в Берлин по делам, связанным с унаследованными его женой от смещенного и вскоре после того умершего графа Кальхейма крупными поместьями в Неймарке. А так как он искренне любил своего повелителя, то после некоторого раздумья и спросил последнего, не предоставит ли он ему полной свободы действий в истории с запиской. А когда тот, порывисто прижав его руку к своей груди, отвечал: «Вообрази, что ты — это я, и раздобудь ее!» — камергер, сдав дела, ускорил отъезд и отбыл в Берлин без жены, сопровождаемый лишь несколькими слугами.

Тем временем Кольхаас, доставленный в Берлин и согласно распоряжению курфюрста помещенный в рыцарскую тюрьму, предоставлявшую большие удобства ему и его пятерым детям, по прибытии из Вены прокурора предстал перед верховным судом,

обвиненный в нарушении имперского мира. Правда, на первом же допросе он сказал, что в силу соглашения между ним и курфюрстом Саксонским, заключенным в Лютцене, он, Кольхаас, не может быть обвинен в вооруженном нападении на курфюршество Саксонское и последовавших за ним насильственных действиях. В ответ ему было назидательно сказано, что его величеством императором, коего здесь представляет имперский прокурор, сие не может быть принято во внимание. Когда же ему все растолковали и к тому же объявили, что в Дрездене его иск к юнкеру фон Тронка полностью удовлетворен, он немедленно смирился. Случилось так, что в день прибытия камергера Кольхаасу был вынесен приговор — смерть через обезглавливание мечом, в исполнение которого, даже несмотря на его мягкость^[29], никто не хотел верить из-за запутанности всего дела; более того, весь город, зная, как курфюрст благоволил к Кольхаасу, надеялся, что по его могущественному слову казнь обернется разве что долголетним тюремным заключением.

Камергер, поняв, что ему нельзя терять времени, если он хочет выполнить поручение своего повелителя, начал с того, что в обычном своем придворном наряде стал прохаживаться под стенами тюрьмы, в то время как Кольхаас от нечего делать стоял у окна и разглядывал прохожих. По внезапному повороту головы Кольхааса камергер заключил, что тот его узнал, и с особым удовольствием отметил непроизвольное движение узника, поспешно коснувшегося рукой медальона. Итак, смятение, в эту минуту, видимо, охватившее душу Кольхааса, камергер истолковал как достаточный повод для того, чтобы перейти к решительным действиям. Он велел привести к себе торговку ветошью, старуху, едва ковылявшую на костылях, которую заметил на улицах Берлина среди других таких же старьевщиков и старьевщиц, ибо она по годам и по платью показалась ему похожей на ту, о которой говорил курфюрст. Уверенный, что Кольхаас в точности не запомнил мимолетно виденного лица женщины, передавшей ему записку, он решил подослать к нему старуху, заставив ее, если, конечно, удастся, сыграть роль цыганки-ворожеи. Посему он подробно рассказал ей обо всем, что в свое время произошло в Ютербоке между курфюрстом и цыганкой; не зная, однако, как далеко зашла та в своем провидении, он постарался втолковать старухе все ему известное касательно трех таинственных пунктов записки. Затем стал поучать ее говорить как можно отрывочнее и темней, дабы можно было хитростью или силой — для этого все уже подготовлено — выманить у Кольхааса записку, представляющую огромную важность для саксонского двора, буде же это окажется невозможным, предложить ему отдать эту записку ей на

хранение якобы на несколько особо тревожных дней, когда у него она вряд ли будет в сохранности. Старьевщица, прельстившись солидным вознаграждением, тотчас же согласилась обстряпать это дело, потребовав, однако, от камергера задаток. А так как ей вот уже несколько месяцев была знакома мать Херзе, павшего под Мюльбергом, которая, с разрешения начальства, изредка навещала Кольхааса в тюрьме, то старухе в ближайшие дни с помощью небольшого подарка тюремщику удалось проникнуть в камеру конноторговца.

Кольхаас, увидев на руке старухи перстень с печаткой, а на шее коралловое ожерелье, принял ее за ту самую цыганку, что дала ему записку в Ютербоке; но поскольку правдоподобие не всегда состоит в союзе с правдой, то здесь и произошел некий казус, о котором мы поведаем читателям, предоставив каждому, кто пожелает, полную свободу в таковом усомниться. Дело в том, что камергер, как оказалось, совершил отчаянную промашку и, погнавшись на улицах Берлина за старухой ветошницей, которой он прочил роль цыганки, изловил ту самую таинственную ворожею из Ютербока.

Так или иначе, но старуха на костылях, лаская детишек, пораженных ее странным видом и в испуге прижимавшихся к отцу, рассказала, что уже довольно давно воротилась из Саксонии в Бранденбургское курфюршество и, услышав, как камергер на улицах Берлина, не будучи осторожности, наводит справки о цыганке, весною прошлого года находившейся в Ютербоке, немедленно к нему протиснулась и, назвавшись вымышленным именем, вызвалась выполнить его поручение. Кольхаасу бросилось в глаза непостижимое сходство цыганки с его покойной женою Лисбет, такое сходство, что он едва удержался, чтобы не спросить, уж не приходится ли она ей бабушкой, ибо не только черты ее лица, но и руки, все еще красивые, и прежде всего жесты этих рук, когда она говорила, воскрешали в его памяти Лисбет, даже родинку, так красившую шею его жены, заметил он на морщинистой шее старухи. Кольхаас — мысли у него как-то странно путались — усадил ее на стул и спросил, что ж это за дела такие, да еще связанные с камергером, привели ее к нему. Старуха, глядя любимую собаку Кольхааса, которая обнюхивала ее колени и виляла хвостом, отвечала, что камергер поручил ей разведать, какой же ответ содержится в записке на три таинственных вопроса, столь важных для саксонского двора, далее — предостеречь его, Кольхааса, от некоего человека, присланного в Берлин, чтобы, пробравшись в тюрьму, выманить записку под предлогом, что у него она будет сохраннее, нежели на груди у Кольхааса. Пришла же она сюда с намерением сказать ему, что угроза хитростью или силой отнять

у него записку — нелепица и заведомая ложь; что ему, находящемуся под защитой курфюрста Бранденбургского, нечего опасаться этого человека и, наконец, что у него на груди записка будет целее, чем даже у нее, только пусть остерегается, чтобы никто и ни под каким видом ее у него не отнял. Тем не менее, закончила старуха, ей кажется разумным использовать записку для той цели, какую она имела в виду, вручая ему в Ютербоке этот клочок бумаги, призадуматься над предложением, сделанным через охотничьего фон Штейн, и записку, для него, Кольхааса, уже бесполезную, выменять у курфюрста Саксонского на жизнь и свободу.

Кольхаас, ликуя, что ему дарована сила смертельно ранить врага, втоптавшего его в прах, воскликнул:

— Ни за какие блага мира, матушка! — Засим, пожав руку старухи, любопытствовал, что же за ответы и на какие такие грозные вопросы стоят в этой записке.

Цыганка взяла на колени младшего его сынка, пристроившегося было на полу у ее ног, и проговорила:

— Блага мира тут ни при чем, Кольхаас, лошадиный барышник, а вот благо этого белокурого мальчугана... — Она рассмеялась, лаская и целуя ребенка, смотревшего на нее широко раскрытыми глазами, потом костлявыми своими руками протянула ему яблоко, вынутое из кармана.

Кольхаас в волнении сказал, что дети, будь они постарше, одобрили бы его поступок и что именно в заботе о них и о будущих внуках он долгом своим почитает сохранить эту записку. Ибо кто же после горького опыта, им приобретенного, убережет его от нового обмана, и не пожертвует ли он запиской для курфюрста так же бесцельно, как пожертвовал для него своим военным отрядом в Лютцене.

— Кто однажды нарушил слово, — добавил он, — с тем я больше в переговоры не вступаю; и только ты, матушка, прямо и честно можешь сказать, надо ли мне расстаться с листком, столь чудесным образом вознаградившим меня за все, что я претерпел?

Старуха, спустив с колен ребенка, отвечала, что кое в чем он прав и, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится. С этими словами она взяла костыли и направилась к двери. Кольхаас повторил свой вопрос касательно содержания загадочной записки, и, когда старуха нетерпеливо ему ответила, что он ведь может ее распечатать, хотя это и будет пустое любопытство, пожелал узнать еще и многое другое: кто она, как пришло к ней ее искусство, почему она не отдала курфюрсту записку, собственно для него предназначавшуюся, и среди многих тысяч людей избрала именно его, Кольхааса, никогда прорицаниями не интересовавшегося, и ему вручила

чудесный листок.

Но тут вдруг на лестнице послышались шаги тюремной стражи, и старуха, боясь, что ее здесь застанут, торопливо проговорила:

— До свидания, Кольхаас! Когда мы снова встретимся, ты все узнаешь! — Затем, идя к двери, воскликнула: — Прощайте, детки, будьте счастливы! — перецеловала малышей всех подряд и вышла.

Тем временем курфюрст Саксонский, терзаемый мрачными мыслями, призвал к себе двух астрологов, Ольденхольма и Олеариуса, в ту пору весьма почитаемых в Саксонии, надеясь от них узнать содержание таинственной записки, столь важной для всего его рода и потомства. Но так как сии ученые мужи после нескольких дней, проведенных на башне Дрезденского замка за чтением звезд, не смогли прийти к согласию, относится ли пророчество к последующим столетиям или же к настоящему времени и не подразумевает ли оно королевство Польское, отношения с коим все еще оставались неприязненными, то этот ученый спор не только не развеял тревоги, чтобы не сказать отчаяния, несчастного властителя Саксонии, но, напротив, усугубил ее, сделал и вовсе непереносимой. К этому еще добавилось, что камергер поручил своей жене, собиравшейся к нему в Берлин, осторожно сообщить курфюрсту о неудавшейся попытке завладеть запиской с помощью одной женщины, которая с тех пор как в воду канула. Принимая во внимание все эти обстоятельства, приходится оставить всякую надежду раздобыть злосчастную записку, тем паче что после всестороннего обсуждения дела курфюрст Бранденбургский подписал смертный приговор Кольхаасу и казнь назначена на понедельник после Вербного воскресенья.

Услышав это, курфюрст себя не помнил от горя и раскаяния; жизнь ему опротивела: запершись в опочивальне, он в течение двух дней не притрагивался к пище, но на третий, не давая никаких объяснений кабинету, вдруг заявил, что уезжает на охоту к принцу Дессаускому, и исчез из Дрездена. Вопрос о том, направился ли он в Дессау или куда-нибудь еще, мы оставляем открытым, ибо старинные хроники, из сопоставления коих мы почерпаем материал для нашей повести, в этом пункте странным образом одна другой противоречат. Установлено лишь, что принц Дессауский не мог быть на охоте, так как в это время лежал больной в Бранденбурге у своего дядюшки герцога Генриха, а также, что госпожа Элоиза вечером следующего дня в сопровождении некоего графа фон Кёнигштейн, которого она выдавала за своего двоюродного брата, прибыла в Берлин, где ее дожидался супруг, господин Кунц.

Тем временем Кольхаасу был уже зачитан смертный приговор, с него

сняли оковы и возвратили отобранные было в Дрездене документы, касающиеся его имущества; когда же советники, направленные к нему судом, спросили, как желает он распорядиться своим достоянием, Кольхаас с помощью нотариуса составил завещание в пользу своих детей, а опекуном над ними назначил доброго старого друга — амтмана из Кольхаасенбрюкке. Посему спокойствием и безмятежностью были исполнены его последние дни; тем более что курфюрст распорядился открыть темницу и предоставить право друзьям Кольхааса, которых в городе у него было великое множество, посещать его днем и ночью. Но еще большее удовлетворение суждено было испытать Кольхаасу, когда в тюрьму к нему явился богослов Якоб Фрейзинг, посланный доктором Лютером с собственноручным и, без сомнения, весьма примечательным письмом последнего, к сожалению, до нас не дошедшим, который в присутствии двух бранденбургских деканов причастил его святых тайн.

Но вот настал роковой понедельник после Вербного воскресенья, день, когда Кольхаасу предстояло поплатиться жизнью за необдуманно поспешную попытку собственными силами добиться правды; весь город пребывал в волнении, все еще не теряя надежды, что государево слово спасет Кольхааса. Вот, предводительствуемый богословом Якобом Фрейзингом, в сопровождении усиленного конвоя, вышел он из ворот тюремного замка, держа на руках обоих своих мальчиков (ибо эту милость он настойчиво выговорил себе у суда), как вдруг из обступившей его горестной толпы друзей и знакомых, пожимавших ему руки и навеки с ним прощавшихся, вышел кастелян курфюрстова дворца и с растерянным видом подал ему листок бумаги, сказав, что сделать это упростила его какая-то старуха. Кольхаас взял письмо, удивленно взглянув на этого почти незнакомого ему человека, и по оттиску перстня на печати сразу догадался, что оно от цыганки.

Но кто опишет изумление, его охватившее, когда он прочитал; «Кольхаас, курфюрст Саксонский в Берлине; он уже отправился к лобному месту, и ты, если захочешь, можешь узнать его по шляпе с султаном из голубых и белых перьев. Не мне тебе говорить, зачем он явился; он надеется вырыть твое тело из могилы и наконец прочитать записку, хранящуюся в медальоне. — *Твоя Элизабет*».

Кольхаас, до крайности пораженный, обернулся к кастеляну и спросил, знакома ли ему чудная женщина, передавшая это письмо. Кастелян успел только сказать: «Кольхаас, эта женщина...» — но странным образом запнулся, процессия двинулась дальше, и Кольхаас уже не мог разобрать, что говорил этот дрожавший всем телом человек.

Прибыв на площадь, где высился эшафот, Кольхаас среди несметной толпы народа увидел курфюрста Бранденбургского верхом на коне, с конною же свитой, в числе которой находился и эрцканцлер Генрих фон Гейзау, одесную от него имперский прокурор Франц Мюллер держал в руках смертный приговор, ошую стоял ученый правовед Антон Цойнер с решением дрезденского трибунала; в середине полукруга, замыкавшегося толпой, герольд с узлом вещей держал в поводу обоих вороных, раскормленных, с лоснящейся шкурой, бивших копытами землю. Ибо эрцканцлер господин Генрих именем своего государя настоял в Дрездене, чтобы юнкером фон Тронка, статья за статьей, без малейшего послабления, было выполнено решение суда. Над головами вороных, когда их забирали от живодера, склонили знамя, дабы честь коней была восстановлена, затем люди юнкера фон Тронка выходили и откормили их и в присутствии нарочно для того созванной комиссии передали прокурору на рыночной площади в Дрездене. Посему, когда Кольхаас, сопровождаемый стражниками, проходил мимо, курфюрст обратился к нему со следующей речью:

— Итак, Кольхаас, сегодня тебе воздается должное! Смотри, я возвращаю тебе все, что было мною отнято у тебя в Тронкенбурге и что я, как глава государства, обязан был тебе возвратить: вот твои вороные, шейный платок, золотые гульдены, белье, даже деньги, истраченные тобой на лечение конюха Херзе, павшего под Мюльбергом. Доволен ли ты мною?

Кольхаас, спустив наземь детей, которых до того держал на руках, с пылающим взором читал решение суда, врученное ему по знаку эрцканцлера. Прочитав пункт, согласно коему юнкер Венцель приговаривался к двухгодичному тюремному заключению, он, не в силах более сдерживать обуревавших его чувств, скрестил руки на груди и опустился на колени перед курфюрстом. Поднявшись, он оборотился к эрцканцлеру и радостно проговорил, что заветнейшее из его земных желаний исполнилось; затем подошел к коням, оглядел их, ласково потрепал по лоснящимся шеям и, снова приблизившись к канцлеру, сказал, что дарит их своим сыновьям — Генриху и Леопольду. Генрих фон Гейзау, нагнувшись к нему с седла, от имени курфюрста милостиво заверил Кольхааса, что последняя его воля будет свято исполнена, и предложил ему распорядиться еще и насчет вещей, связанных в узел. Кольхаас подозвал к себе старуху — мать Херзе, которую разглядел в толпе, и, передавая ей вещи, сказал:

— Возьми, матушка, это твое! — и еще отдал ей деньги, приложенные к узлу в качестве возмещения убытков, прибавив, что они пригодятся ей на

старости лет.

— А теперь, конноторговец Кольхаас, — воскликнул курфюрст, — когда твой иск полностью удовлетворен, готовься держать ответ перед его императорским величеством в лице присутствующего здесь прокурора за нарушение имперского мира!

Кольхаас снял шляпу и, бросив ее наземь, объявил, что он готов, еще раз поднял детей, прижал к своей груди, передал их амтману из Кольхаасенбрюкке, который, тихо плача, увел их с площади, и вошел на помост.

Он уже снял шейный платок и отстегнул нагрудник, как вдруг среди толпы заметил хорошо знакомого человека в шляпе с голубыми и белыми перьями, которого старались заслонить собою два рыцаря. Кольхаас, отстранив стражников и неожиданно быстро к нему приблизясь, сорвал с шеи медальон, вынул из него записку, распечатал и прочитал ее; потом, в упор глядя на человека с султаном из голубых и белых перьев, в чьей душе шевельнулась была надежда, скомкал ее, сунул в рот и проглотил.

Человек с голубыми и белыми перьями на шляпе, увидя это, в судорогах упал на землю. И в то время, как перепуганные спутники последнего склонились над ним, Кольхаас вошел на эшафот и голова его скатилась с плеч под топором палача.

На этом кончается история Кольхааса. Тело его, под неумолчный плач народа, было положено в гроб, и когда носильщики подняли его, чтобы отнести на кладбище в предместье и там как подобает предать земле, курфюрст позвал к себе сыновей покойного, ударом меча посвятил их в рыцари и сказал своему эрцканцлеру, что воспитание оба мальчика получат в пажеской школе курфюршества.

Курфюрст Саксонский, разбитый душой и телом, вскоре после описанных событий вернулся в Дрезден, о дальнейшем же читатель может узнать из летописи этого города. Жизнерадостные и здоровые потомки Кольхааса еще в прошлом столетии жили в герцогстве Мекленбургском.

Примечания

Михаэль Кольхаас
(Michael Kohlhaas)

Сюжет новеллы взят из «старой хроники», из рассказа школьного учителя второй половины XVI века Петера Гафтица, об исторически реальной личности Ганса Кольхазе (Hans Kohlhasse). Это был зажиточный купец из Бранденбурга, у которого по приказу саксонского юнкера Гюнтера фон Цашвиц увели двух лошадей. Ганс Кольхазе пытался возместить убыток через суд, но потерпел неудачу. Тогда, собрав вокруг себя других недовольных, он объявил войну своему притеснителю, а заодно и всей Саксонии с ее несправедливой юстицией. Ему удалось поджечь город Виттенберг и причинить немалое беспокойство саксонскому курфюрсту, но в конечном итоге курфюрст Бранденбургский заманил его в Берлин, предал суду и казнил.

В 1808 году в журнале «Феб» Клейст опубликовал отрывок из новеллы, который отличался от окончательной редакции отсутствием указаний на место действия. Это объясняется тем, что «Феб» печатался в Дрездене (Саксония) и Клейст не хотел осложнять положение журнала ссорой с местной цензурой. Завершен «Михаэль Кольхаас» летом 1810 года.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Примечания

...в середине шестнадцатого столетия... — Исторические события, легшие в основу новеллы, происходили в период с 1 октября 1532 года (увод коней) до 22 марта 1540, когда казнили Ганса Кольхазе.

Близ деревни, и поныне носящей его имя... — Такой деревни не существует. Название «Кольхаасенбрюкке» взято Клейстом по имени моста близ Потсдама («Кольхазенбрюкке»), где, согласно народной легенде, Ганс Кольхазе затопил ценный клад.

Саксонское курфюршество — в период, о котором повествует Клейст, — одно из богатейших и могущественнейших княжеств империи. Во главе его тогда стоял курфюрст Иоганн Фридрих I (1503–1554).

Юнкер — здесь: владелец крупного феодального поместья, осуществлявший в его пределах и административную власть.

Кастелян — смотритель замка, наблюдавший за хозяйством.

Король Артур — легендарный правитель древних бриттов, герой средневековых кельтских народных сказаний, а также рыцарских романов «Круглого стола».

Дрезден — в то время резиденция одного из правителей Саксонии.

Кравчий, камергер — высшие придворные должности.

Бранденбург — здесь: город на реке Хавель близ Потсдама, входивший в состав Бранденбургского курфюршества.

Курфюрст Бранденбургский. — Действие новеллы начинается при курфюрсте Иоахиме I, который поддерживал справедливые претензии Ганса Кольхазе. С 1535 года, после его смерти, новый курфюрст, Иоахим II, уступил настояниям Саксонии и жестоко расправился с мятежным барышником.

Амтман — местный чиновник.

Шверин — город на севере, в герцогстве Мекленбургском. Кольхаас хочет отправить жену за границу, чтобы ее не могли преследовать ни саксонские, ни бранденбургские власти.

...к этой только что возникшей религии... — лютеранство возникло в 1517 году. В Саксонии оно было введено с 1525 года, а в Бранденбурге лишь при Иоахиме II. Следовательно, Кольхаас и его жена стали лютеранами раньше даже, чем эта религия распространилась в их княжестве. Отсюда и преклонение новообращенного Кольхааса перед Мартином Лютером.

«Кольхаасов мандат». — Такой мандат действительно был издан Гансом Кольхазе в феврале 1534 года.

...поджег Виттенберг одновременно с разных сторон... —
Виттенберг был подожжен Гансом Кольхазе 9 и 10 апреля 1534 года.

Ландфохт — градоправитель и главный судья.

День святого Гервазия — 19 июня.

Рейтары — регулярная тяжелая кавалерия.

...именовал себя наместником архангела Михаила... — Стиль воззваний Кольхааса выдержан в духе сектантских манифестов лишь недавно отзвучавшей Крестьянской войны (1525).

Ввиду всех этих обстоятельств, доктор Мартин Лютер... — Подлинный Ганс Кольхазе также находился в переписке с Лютером, и последний даже ходатайствовал в его защиту перед курфюрстом Саксонии, но это ходатайство не увенчалось успехом.

Фамулус — помічник, асистент.

Гроссканцлер трибунала — высшая судебная должность.

Левант — страны Ближнего Востока (главным образом Сирия и Ливан).

Ландрат — лицо, осуществляющее высшую власть в округе.

...написал письмо императору... — С императором Карлом V у саксонского курфюрста были весьма плохие отношения, ибо Саксония возглавляла Шмалькальденский союз протестантских князей, а Карл V мечтал реставрировать в Германии католическую религию.

Сивилла — прорицательница у древних римлян. Сборник пророчеств «Сивиллины книги», приписываемый Сивилле Кумской, использовался в Риме для официальных гаданий.

Твоя милость долго будет править, и долго будет властвовать дом, из коего ты приходишь, и потомки твои будут жить во славе и великолении и станут могущественнее всех царей земных! — Это пророчество относится к дому Гогенцоллернов, из которого происходил курфюрст Бранденбургский. Впоследствии Гогенцоллерны стали прусскими королями, а затем (правда, уже спустя много лет после смерти Клейста, в 1871 году) и императорами Германии.

...три тайны я открою тебе: имя последнего правителя из твоего дома, год, когда он лишится престола, и имя того, кто с оружием в руках твоим царством завладеет. — Курфюрст Саксонский Иоганн Фридрих I в 1547 году потерпел поражение при Мюльберге и был взят в плен. Император отнял у него владения; курфюршеское право было передано Морицу Саксонскому, а пленный курфюрст был брошен в тюрьму, где ему был вынесен смертный приговор, хотя и не приведенный в исполнение. Он был освобожден лишь в 1552 году, за два года до смерти (1554).

...Кольхаасу был вынесен приговор — смерть через обезглавливание мечом... несмотря на его мягкость... — Этот приговор считался мягким, по сравнению с колесованием или виселицей.